ПАВЕЛ МЕЛЬНИКОВ-ВЕЧЕРСКИЙ

КНЯЖНА ТАРАКАНОВА И ПРИЦЕССА ВЛАДИМИРСКАЯ (СБОРНИК)

Литрес

Павел Мельников-Печерский

Княжна Тараканова и принцесса Владимирская (сборник)

«Public Domain»

Мельников-Печерский П. И.

Княжна Тараканова и принцесса Владимирская (сборник) / П. И. Мельников-Печерский — «Public Domain»,

Самобытный русский писатель П. И. Мельников (Андрей Печерский), покоривший читателей романами «В лесах», «На горах», был признанным знатоком жизни разных сословий дореформенной России, уникальным исследователем раскола. Автору присущ живой русский слог при описании жизни, нравов русских людей, увлекательная манера повествования. Исторический очерк о знаменитой княжне Таракановой, вовлеченной в политическую игру своего времени, описаны ее приключения, захватывающе изложена история ее «изловления».

© Мельников-Печерский П. И.
© Public Domain

Содержание

Красильниковы 5
I 5
II 12
Дедушка Поликарп 17
Поярков 25
Старые годы 39
I 45
II 48
III 53
IV 59
V 65
VI 74
Конец ознакомительного фрагмента. 77

Павел Иванович Мельников-Печерский
Княжна Тараканова и принцесса Владимирская (Сборник)

Красильниковы
Из дорожных записок

I

В уездном городе С. остановились мы посмотреть на известные кожевенные заводы Красильникова. Нетрудно было отыскать дом богатого заводчика, каменный, двухэтажный, лучший во всем городе; стоит он недалеко от древнего собора, обезображенного пристройками в «новейшем» вкусе.

В верхнем жилье, в окнах с цельными зеркальными стеклами стояли незатейливые гипсовые изображения Вольтера, Суворова, поднявшей чуть не выше головы правую ногу Тальони, зеленого попугая с коричневым носом и разноцветной кошки, с головой, качавшейся при малейшем прикосновении. В середнем окне виднелись дорогие бронзовые часы, а стекла других залеплены были вырезанными из цветной бумаги подобиями лошади и чего-то вроде буквы Ф., с раздвоенным нижним концом и трехуголкой с перьями наверху. В нижнем жилье в окна вделаны были толстые железные решетки, а стекла сплошь выбиты. На цоколе красным карандашом в несколько рядов писаны бирочные знаки: кресты, кружки, черточки – открытая на весь мир расходная книга приказчика, отпускавшего кому-то опойки.

Ворота были заперты. Я стукнул тяжелым железным кольцом о дубовое полотно калитки: раздался сильный лай цепной дворняжки, и в подворотне показались три собачьи морды, скаля зубы и заливаясь глухим ревом. Щеколда изнутри стукнула, и краснолицая, курносая девка-чернавка, вершков одиннадцати в отрубе, одетая в засаленный московский сарафан из ивановского ситца, просунулась до половины и спросила нас:

– Кого вам надоть?

– Корнила Егорыч дома?

– А отдыхает: сейчас пообедамши.

– Когда его можно застать?

– А не знаю же я… Да вы откелева будете?

– Из П…

Я назвал губернский город.

– По кожу аль по сало?

– Нет… Так, нужно хозяина повидать. Когда застать-то?

– Не веду. Спрошать разве Марью Андревну, коль не започивала.

Заперла девка-чернавка калитку, ушла. Воротясь минут через пять, сказала:

– В вечерню приходите, не то завтра после ранней обедни.

– Ну, завтра так завтра.

Мы с путевым товарищем хотели было идти на постоялый двор, где остановились за неимением в С. гостиницы; но девка-чернавка еще раз спросила нас, должно быть, для удовлетворения собственного любопытства:

– А сами-то вы из каких будете? Приказчики, что ли, чьи?

– Нет, не приказчики.

– Кто же вы?

– Чиновные.

– Из судов?

– От губернатора.

Это слово имело чародейную силу: не прошли мы ста сажен, как за нами послышались крики:

– Обождите-ка, воротитесь-ка! Корнила Егорыч вас кликнуть велел.

Босоногая девка-чернавка бежала во всю прыть. Ее перегоняли собаки, одна вцепилась в полу моего спутника.

– Лыска! Лыска! цымате! Экой пострел, кабан проклятый! – кричала изо всей мочи девка-чернавка.

И, схватив валявшуюся на улице слегу, принялась колотить направо и налево косматых стражей Корнилы Егорыча. Собаки завизжали и побежали домой. Путеводимые спасительницей от их ярости, вошли мы на двор Красильникова, обошли парадное крыльцо, где обглоданные мослы и сбитое сено указывали на жительство врагов наших, и теперь еще исподтишка бросавшихся под ноги. Обогнув угол дома, по заднему крыльцу вошли мы наверх, нагибаясь под протянутыми веревками, развешанными для просушки белья. По всему двору крепко пахло дегтем и кожей.

Темными закоулками провела нас девка-чернавка в обширную комнату – в «залу» и, молвив, что хозяин сейчас выйдет, ушла.

По убранству комнаты видно было, что Корнила Егорыч – человек домовитый и, разбогатев, из кожи лез, чтоб на славу украсить жилище свое: денег не жалел, все покупал без разбору, платил втридорога, и все невпопад. Отделав стены под мрамор, раззолотил карнизы, настлал дубовый мелкоштучный паркет, покрыл его шелковыми коврами, над окнами развесил бархатные занавеси, а на стену наклеил литографию Василья Логинова, в углу повесил клетку с перепелом, а на окнах между кактусом и гелиотропом в полуразбитых чайниках поставил стручковый перец да бальзамин. Мебель в гостиной за дорогую цену куплена была в Петербурге да еще наперебой с каким-то вельможей; но сшитые из поношенного холста с крашенинными заплатами чехлы снимались с нее только в светлое воскресенье да в хозяйские именины. В великолепных лампах, расставленных по столам и по углам, масла сроду не бывало, да во всем С. и зажигать-то их тогда еще никто не умел.

Непривычно Корниле Егорычу ходить по мелкоштучному паркету, не умеет он ни сесть ни стать в комнатах, строенных не на житье, а людям напоказ, робеет громко слово сказать в виду дорогих своих мебелей. Душно ему в своем доме, сбылась над ним пословица: «Своя воля страшней неволи». Осторожно пробираясь меж затейливыми диванами и креслами, ровно изгнанник, бежит Корнила Егорыч из раззолоченных палат в укромный уголок, чужому человеку недоступный. Там на теплой изразцовой лежанке ищет он удобств, каких не сыскать в разубранных комнатах. Вот у лежанки стоит сосновый, крепкой водкой травленный стол под ярославской салфеткой; на нем счетная книга, псалтирь и «Московские Ведомости»; у стола стул-складень; привык к нему Корнила Егорыч, еще сидя мальчишкой в чужой лавке. Вот двуспальная кровать с пуховиком чуть не до потолка и с дюжиной подушек: крепко спится на ней Корниле Егорычу. Вот кафельная печь с поливными фигурами балахонской работы: ровно баню, греет она заветный угол хозяина и приглядней ему беломраморных стен залы и бархатных обоев гостиной. А часов с кукушкой, что повешены против кровати, не отдаст он за

две дюжины дорогих часов, что на мраморном подставе красуются у середнего окна гостиной. Добровольно, но подчас с досадой, жмется Корнила Егорыч в тесной мурье – хватил бы все по боку и зажил бы как хочется – да нельзя!.. Как от людей отстать? Попал в стаю – лай не лай, а хвостом виляй… Еще скрягой прозовут. Зато раз отведена была у него квартира для губернатора. На прощаньи генерал сказал хозяину: «Ну, Корнила Егорыч, домик-то у тебя на славу отделан – мебель хоть во дворец». И счастлив и доволен был Корнила Егорыч и сторицей вознагражден за досадные минуты, когда, проходя бочком мимо дорогих мебелей, думает сам про себя: «И на какой шут, прости господи, такие стулья наделаны? Сесть порядком нельзя – без сноровки провалишься совсем».

Не странно в зале Корнилы Егорыча встретить и логиновскую литографию, и стручковый перец, и перепела в клетке из лутошек. Дороги они хозяину, добровольному заточеннику в золотой тюрьме своей. Вспоминали они ему былое, бедное, но свободное от несродного житья-бытья время – время молодости, когда жилось веселей, а на свете божьем было просторней и все смотрело ясней и радостней. Кроме перепела да перца, остальное было чуждо, несродно хозяину: здесь ему и свое не свое, здесь и сам он ровно на выставке – миру напоказ. Ничего для себя; все для чужих; даже гипсовых Вольтера с попугаем поставил он передом на улицу.

По лицу вышедшего к нам Корнилы Егорыча видно было, что могучее слово «от губернатора» оторвало его от дорогой лежанки. Заметно было, что одевался он наскоро; золотых медалей однако ж не забыл надеть. Это был широкоплечий старик среднего роста, волосы совсем почти белые, борода маленькая, клином, глаза подслеповатые, но живые, выразительные. По суровому облику его видно было, что это старик своеобычный, крутой; а россыпью глядевшие глаза обличали в нем человека, что всякого проведет и выведет. Но в этом хитром, бегающем взоре крылась какая-то грусть затаенная. Туманилось лицо Корнилы Егорыча горем душевным, еще не выношенным, не выстраданным. День меркнет ночью, человек печалью, а горе, что годы, борозды по лицу проводит. Казалось, и Корниле Егорычу не годы убелили голову, а душевное горе. Оно не молодит, а косицу белит.

– Покорно просим! – сказал Корнила Егорыч. – Извините, позадержал: соснуть было прилег.

И, при воспоминанье о лежанке, зевнул, набожно перекрестив рот. Мы извинились, что потревожили его, сказали свои имена и показали открытый лист начальника губернии, где было сказано, что приехали мы из Петербурга от министра внутренних дел для собрания статистических сведений. После того я попросил хозяйского дозволения взглянуть на его кожевенный завод.

Без чашки чаю, без рюмки вина, без закуски от русского купца старого закала никому не уйти. Старинное хлебосольство не чуждо было и Корниле Егорычу. На столах появились вино, закуска, разные сласти. Приказчик, стриженный в скобку, в длиннополой суконной сибирке с борами назади и с сильным запахом кожи, подал чай. Речь шла про торговлю.

– Кожа плохо пошла! – говорил Корнила Егорыч. – В прежние годы в одну Одессу мы втрое больше ставили, в Ливурну оттоле возили; теперь стало дело, да и шабаш.

– Отчего ж так, Корнила Егорыч?

– Сырьем повезли. У иностранцев, я вам доложу, на этот предмет руки золотые – не нашим чета. Наш брат русак сметкой взял, а немец – терпеньем. Да в нашей-то сметке горе проявилось, да не одно, целых три… Русский человек на трех сваях стоит: авось, небось да как-нибудь. Нам бы тяп-ляп и корабль, а там – нет-с, там на этот счет все в аккурат… К примеру хоть кожа: что наша русская кожа? Вон на дворе партия юхты лежит, – на Урюпинску заготовил – разваляйте-ка воз: тут подрез, тут гниль мясная, а тут и все дырье… Отчего?.. Оттого, что платишь рабочему поштучно, он тебе и делает как-нибудь, одно норовит: больше бы кож обрядить… Да как пошел ножом сплеча валять, тут ему не до подрезей. Небось, говорит, хозяин не заприметит. А хозяин, наш брат, не в печку же ему бросать порчену кожу: авось,

думает, на ярмонке сбуду. А как работник-от делает как-нибудь да хоронится за небось, да как и хозяин-от на авоське в ярмонку выезжает – добра не жди. Правду надо говорить!.. Вот за границу наша кожа и нейдет, а сырье иностранцы с руками готовы рвать. Из русского сырья они такую тебе кожу сработают, что нашей-то в нос кинется. Вот отчего, сударь, стала наша кожа. Красна юхта покуда еще идет – это особь статья, эта завсегда пойдет; у нас березы-то не занимать стать, а за границей чуть не каждый сучок на перечете.

– Как же сбыт юхты зависит от березы?

– Березы нет – дегтю нет; а без дегтю хорошей юхты не сделать.

Перешел разговор на смуты, возникшие в то время на Западе.

– В Венгрии, кажется, война будет, – сказал я: – для тамошних войск кожа потребуется, нашей попросят…

– Пуда не попросят. Пошли бы туда наши кожи, ежели бы там шла война по божьему велению, стал бы царь на царя, закон на закон. Тогда бы пошла…

А теперь что там? Законная разве война… Бунт богопротивный, усобица… Подерутся и босиком!..

Таковы были речи Корнилы Егорыча. А учился за медну полтину у приходского дьячка, выезжал из своего городка только к Макарью на ярмонку, да будучи городским головой, раза два в губернский город – ко властям на поклон. Кроме Псалтиря, Четьи-Минеи да «Московских Ведомостей» сроду ничего не читывал, а говорил, ровно книга… Человек бывалый. Природный, светлый ум брал свое. Заговорили о развитии торговли и промышленности.

– Чтоб дело торговое шло, – молвил Корнила Егорыч, – надо, чтоб ему не делали помехи, а пуще того, чтоб ему не помогали, на казенну бы форму не гнули. Не приказное это дело: в форменну книгу его не уложишь. А главная статья – сноровка… Без сноровки будь каждый день с барышом, а век проходишь нагишом. А главней всего – божья воля: благословит господь – в отрепье деньгу найдешь; без божьего благословенья корабли с золотом ко дну пойдут.

– Так, Корнила Егорыч, слова нет на вашу речь: божье благословенье первое дело; но, кажется, вы еще одно позабыли.

– А что ж такое?

– Науку, просвещение.

Нахмурился Красильников, помолчал и такую речь повел:

– Просвещение!.. Это что в книгах-то пишут?.. Эх, сударь, мало ль что пишут да печатают! Супротив печатного не соврешь. Перо скрыпит, бумага молчит да все терпит… Вот, примеру ради, промысла хоть, что ли, взять? Пишут да печатают, что в гору они пошли… Речи нет, прытко идут, шагают широко, да не так, как пишут. Не в ту силу говорю, что наша промышленность тише идет супротив того, как про нее печатают: нет-с, может, она и попрытче того идет, – а про то я говорю, что пишут-то нескладно, неладно, ровно черт шестом по Неглинной… Вот в «Ведомостях» как-то раз я про наш уезд вычитал. Пишет какой-то барин – видно, такой же, что и вы: тоже сведения собирал, – пишет, что в запрошлом году и скота у нас стало больше и крестьянский промысел в гору пошел; а видно-де это из того, что на базарах скота больше продано, саней и всякого другого крестьянского изделия.

– Что ж, Корнила Егорыч? Разве базарная торговля не может показать степень крестьянских промыслов?..

– Вряд ли, сударь!.. По-нашему, не может… Вот хоть бы нашу сторону взять… Сторона гужевая: от Волги четыреста, от Оки двести верст, реки, пристани далеко – надо все гужом. Вот в запрошлый год и уродились у нас хлеба вдоволь, а промысла на ту пору позамялись… Мужик волком и взвыл, для того, что ему хлебом одним не прожить… Крестьянско житье тоже деньгу просит. Спаси, господи, и помилуй православных от недорода, да избавь, царю небесный, и от того, чтобы много-то хлеба родилось.

– Как так, Корнила Егорыч?

– Да так-с. Мы люди простые, зато седьмой десяток доживаем – всего насмотрелись. Привел господь смолоду, когда еще в бедности находился, и голод изжить: макуху, дуранду, мезгу сосновую ели. И урожаи видал. Так уж я и знаю, что перерод хуже недорода, что здешнему гужевому крестьянину не то беда, что гумно не полно, а то горе великое, ежели работа замнется, промыслу не хватит, да на ту пору хлеб в низкой цене станет. В запрошлый год хлеб-то здесь по полтине был ассигнациями. Серебряный пятиалтынный, значит, без семитки… Подушные мужику надо платить: вези, значит, три воза за двести верст до пристани, – для того, что по осени да по первозимице на месте покупщиков ни души. Ну, и вези да считай, много ль дорогой-то денег-то прохарчишь… Да что подати?.. Подати у нас, слава богу, не больно еще тяжелы; так ведь не на одне подати мужику деньги нужны: надо упряжь справить, надо кушак купить, шапку, платок жене, в храмовой праздник винца хлебнуть, а там еще свадьбы да родины, молебны да крестины, поп с праздничным придет – ему хлеб-от хлебом, а деньги деньгами. А как в урожайный год хлеб-от подешевеет да промыслы-то ухнут, и нет их совсем, заработки-то пойдут дешевые, у мужика из рук все и отобьется. А на ту пору староста в окошко стучит: «оброк, говорит, подавай». – «Денег нет». «Давай, говорит, срок пришел, а нет денег, так корову продавай…» Повел мужик телку, повел другой снова телку, повел третий бычка. На базаре их сосчитали да в «Ведомостях» и припечатали: «Скота-де у них расплодилось»… Прошел месяц-другой, опять староста у окна. – «Денег нет», говорит ему мужичок. А староста ему на ответ: «у тебя две телеги – нову-то продай». Повез мужик телегу, повез другой сани, повез третий дровни – на базаре их сосчитали, а ваша милость, что сведения-то собираете, и хвать в «Ведомостях» – «промыслы-де у них в гору пошли»… Не в ту силу, говорю, что здешнему мужику жизнь горемычная. Год на год не приходит: одно лето перетерпит, на другое за три наверстает. А в ту силу говорю, что ины книги ровно шайтан помелом в трубе написал. Год-от перерода минет, на хлеб станет цена хорошая, промыслы поднимутся, глядишь – справился мужик: скотом обзавелся, сбруей, и в мошне не пусто стало. В зимнице три-четыре коровушки, под навесом две-три телеги, и как староста под окно придет, оброк-от ему платить есть из чего. А на базаре ни коров, ни телег, ни саней, что в прошлом году нужда вывозила. Подметят господа, что книги печатают, да, не справясь со святцами, – бух в большой, скота-де стало меньше: видно-де, падеж у них был, да и промыслы упали, должно-де быть, народ обеднял… Обеднял!.. Как же!.. Лежит себе на печи да бражку потягивает.

Странным казалось мне уклоненье Корнилы Егорыча от прямого разговора. «Что б это значило? – думалось мне. – Начал за здравие, свел за упокой». Опять наклонил я речи на прежний предмет, опять сказал, что для успехов торговли надо купцам учиться и учиться…

– В ниверситете, что ли-с? – с горькой, но задорной усмешкой возразил Красильников. – Нет-с, увольте, ваше высокородие!.. Покорнейше благодарим-с!.. Знаем мы! Это дело, сударь, ваше – барское, а нашему брату оно не по шерсти. Из нашего брата, из купечества, это тому пригодно, кто думает сыновей в дворяне выводить, а нам – нет-с, увольте!., да и проку мало, ей-богу, мало. Дед, отец копят деньги, скопят капитал, большие дела заведут, миллионами зачнут ворочать, а ученый сынок в карты их проиграет, на шампанском с гуляками пропьет, комедиянткам расшвыряет, аль на балы да на вечеринки… Глядишь – и пошел Христовым именем кормиться. Да это бы еще не беда… А как разум сгинет, как… Прохора Андреича Крапивина – изволите знать?.. В Москве суконная фабрика у него была. У него сынок-от ученый… В чинах был, в каретах ездил, на дворянке женился да как профуфынился – из ружья себя и застрелил… Вот-те и чины!.. Вот-те и ученье!.. Душеньку-то свою не уберег, самому сатане ее на руки отдал…

– Не говорю я, Корнила Егорыч, чтоб молодые купцы, выучившись, оставляли свое звание и проматывали отцовские капиталы. Дельное, правильное ученье научит быть бережливым, научит и уважение иметь к сословию, в котором родился. Теперь у нас слава богу…

– Не говорите!.. Мне-то этого не говорите!.. Купцу ученье – пагуба, вот что!.. У меня у самого… Да позабавьтесь финичками-то, ваше высокородие… Икорки-то покушайте: первого, сударь, багренья, прямо из Уральска… А ты что губы-то распустил, Петрович?.. Что чашки не примаешь?.. Давай еще чаю-то!.. Да мадерцы еще рюмочку, ваше высокородие!.. Кликни Сережу, Петрович!

Сережа, парень лет двадцати трех-четырех, румяный, здоровый, с богобоязненным видом и тихой поступью, робко вошел в комнату. Низко поклонясь, смиренно остановился он у притолки, глядя исподлобья на родителя. Тот сказал ему:

– Сивую в дрожки, савраску в беговые. Ты со мной на савраске поедешь.

Я стал уговаривать Корнилу Егорыча самому не беспокоиться, а отпустить с нами на завод одного Сережу… Взгрустнулось, должно быть, по лежанке Корниле Егорычу, – согласился.

– Парень молодой, – сказал он про сына, – мало еще толку в нем… Оно толк-то есть, да не втолкан весь… Молод, дурь еще в голове ходит – похулить грех, да и похвалишь, так бог убьет. Все бы еще рядиться да на рысаках. Известно, зелен виноград – не вкусен, млад человек не искусен. Летось женил: кажется, пора бы и ум копить. Ну, да господь милостив: это еще горе не великое… не другое что…

Помутился взор Корнилы Егорыча. Помолчавши, вздохнул он и молвил вполголоса:

– На волю божью не подашь просьбы!..

Вошел Сережа.

– Поезжай на завод с господами! – сказал ему отец. – Покажи там все, как оно есть… Слышишь?.. Чего стал?.. Пошел, дожидайся!

Сережа пошел было, но отец, воротив его с полдороги, тихонько молвил ему:

– Митьку в сушильню!.. Слышишь?.. – прибавил он громко.

– Слышу, тятенька!

– Ступай же!.. На крыльце дожидайся… А после заводу, ваше высокородие, просим покорно на чашку чаю. Сделайте такое ваше одолжение, не побрезгуйте убогим нашим угощением.

Сережа, тихий смиренник на отцовских глазах, не таков был на заводе. С нами обходился подобострастно, насилу согласился картуз надеть, но с рабочими обходился круто и к тому ж бестолково. Покрикивая ни за что ни про что, сурово поглядывал он то на того, то на другого, и пятились рабочие и прятались друг за дружку, косясь на толстую, суковатую палку, что была в сильных, мускулистых руках Сережи… Но вдруг какой-то шальной, вывернувшись из-за зольного чана, мазнул его по спине мешалкой, обмакнутой в известковый подзол. Сделав свое дело, поворотил он неровным шагом назад. Рабочие уступали ему дорогу и, казалось, друг другу говорили глазами: «Ай да молодец!..» Увлеченный рассказом, через сколько пересолов проходит яловица прежде квасов, Сережа ничего не заметил. Тот шальной был молодой человек лет под тридцать, в загрязненной, просаленной насквозь холщовой рубахе и в дырявых сапогах. Взъерошенная голова, казалось, сроду не была чесана, небольшая бородка свалялась комьями, бледно-желтое, худощавое лицо обрюзгло, рот глупо разинут; но в тусклых, помутившихся глазах виднелось что-то невыразимо-странное, что-то болезненно-грустное… Потухающий ум последней, прощальной искрой светился в том взоре.

Мы проходили через отделение, где толкут корье. Неочищенную ивовую кору подбрасывали в толчею. Путевой товарищ мой заметил, что он видел в Бельгии особую машину для скобленья корья. Сказал это по-французски.

– Les meilleurs cuirs – maroquins qui se fabriquent…[1] – проговорил за нами сиплый голос.

[1] Лучшие сорта кожи – марокен, которые выделываются… *(франц.)* (Все примечания, данные в сносках, принадлежат автору.)

Обернулся Сережа и крикнул:

– В сушильню!

Оглянувшись, увидал я того шального, что вымазал спину Сереже.

– Нейду! – закричал тот задорно. – Ты мне не указ… Наушник!.. Подлец!.. Ты ее погубил!.. Ты убил мою…

– Митька!.. Тятеньке скажу.

Вздрогнул шальной. Понурив голову, тихо поплелся он из толчеи, но вдруг быстро обернулся и заговорил умоляющим голосом:

– Сереженька, голубчик ты мой! Дай гривенничек.

– В сушильню!

– Хоть на шкалик!

– Слушай, Митька! – подняв палку, закричал Сережа: – Право, тятеньке скажу!.. Хоть бы при чужих постыдился!.. Сведи его, Федька, в сушильню. На замок.

Митька сам пошел. За дверьми нестройно запел он хриплым басом:

Quand le vin de champagne
Fait en ecliappant,
Pan, Pan!
La douce gaote me gagne…[2]

– А вот здесь дегтем бухтарму после дубов мажут! – говорил в то время Сережа, переводя нас в другое отделение.

[2] Когда летит пробка из шампанского… меня охватывает веселье… *(франц.)*

II

Вечером, сидя у Красильникова, опять я свел разговор на просвещение. Говорил, что купцам ученье необходимо… Заговорил и Корнила Егорыч, сидя за пуншиком.

– Не говорите про это, ваше высокородие… Мне-то не говорите!.. Говорят люди: красна птица перьем, человек ученьем… Говорят: ученье свет, неученье тьма… Врут люди!.. Ученье – прямо мученье, а нашему брату погибель!..

Купец знай читать, знай писать, знай на счетах класть, шабаш – дальше не забирайся!.. Лучше недоучиться, чем переучиться. Ученье-то ведь что дерево: из него и икона и лопата… Аль что ножик: иной его на пользу держит, а наш брат себя ж по горлу норовит… Купцу наука, что ребенку огонь. Это уж так-с, это – не извольте беспокоиться… Много купецкой молодежи промоталось, много и совсем сгинуло, – а все отчего?.. Все от ученья, все моды проклятые, все оттого, что за господами пошли тянуться, им захотели в вёрсту стать. Нет-с, был бы купец смышлен, даром что не учен.

Нынче за наши грехи не на ту стать пошло. Не то что сыновей, дочерей-то французскому стали учить, да на музыке, плясать. Выучатся дочки, хвать – ан забыли, которой рукой перекрестить лоб следует… У свояка моего, у Петра Андреича Кирпишникова, дочка ученая есть: имя-то святое, при крещенье богоданное – Матреной зовут – на какое-то басурманское сменяла, выговорить даже грех, Матильда, пес ее знает, какая-то стала… Замуж вышла за дворянина: промотался голубчик, женился – карман починить. Стала дворянкой и пустилась во вся тяжкая: верхом, сударь, на лошади катается… тьфу ты, гадость какая!..

Вот и у меня Митька… Погиб, совсем погиб, пропащий стал человек… А все ученье, все наука… А парень-от какой был разумный, да тихий, смирный, рассудительный!.. Что перед ним Сережка?.. Дурь нагольная, как есть одна дурь!.. Сердце колом повернет, как вспомнишь… Ох ты, господи, творец праведный!..

Да-с, без детей горе, а с ними вдвое… Дал мне господь двух сынов да дочку одну: Митька от покойницы от первой жены, Сережа да Настя от Марьи Андревны. Ну, дочь, известно дело, *чужое сокровище* — холь, корми, учи, стереги, да после в люди отдай… А сын домашний гость – корми его да пой – тебе же пригодится. Да учи его, покамест поперек лавки лежит; вырастет да во всю вытянется, тогда уж его не унять. Худ сын глупый – родной отец к коже ума ему не пришьет, а хуже того сын ненаказанный – он бесчестье отцу… Легло бесчестье и на мою седую голову!.. Божья воля!..

Смыштлен рос Митька, отдал я его здесь в уездно училище. Учился бойко – три похвальных листа получил. Выучился, в гимназию стал проситься, ревет мой парень: пусти да пусти. Думал я ременную гимназию ему в спину-то засыпать, да шурин-покойник уговорил… Пристал, отдай да отдай ему Митю на руки… Попутал меня грех, – послушался… В гимназии Митька учился лет пять и был умен не по годам: летом, бывало, на побывку приедет, – на что у нас пятницкой протопоп отец Никанор, и тот с ним не связывайся: в пух загоняет, да все ведь по-латынски… А благочестивый какой был: ни обедни, ни заутрени не пропустит… На крылосе как пел… Голос-от, голос-от какой был!.. А смиренник какой!., что твоя красная девка… И по заводу навострился: ни корья, ни подзола при нем, бывало, фунта не украдут, даром что не был приучен к заводским порядкам… И думал ли я, на него радуясь, что погибнет мой разумник, что покроет он горем старость мою?.. Господи, господи!..

Когда срок ученья ему отошел, был я на ту пору в губернском городе: городским головой служил, к начальству ездил. Стал Митька проситься в Москву, в ниверситете доучиваться. В ногах валяется – плачет: пусти да пусти его еще в ученье. «Врешь, говорю, Митька, умнее не будешь: не пушу!» – Чуяло родительское сердце!.. А из гимназии когда его выпущали, был он что ни на есть первый ученик, не то что своего брата, барчат всех за пояс заткнул. На экзамент

на ихний велели мне побывать, печатный билетец прислали… Митька речь держал по-французскому, качал бойко, только ничего не поймешь. Его превосходительство господин губернатор из своих рук лист да книгу эту пожаловал, да, подозвавши меня, сказал: «У тебя, говорит, Корнила Егорыч, не сын, а звезда». А был на ту пору в нашем губернском городе генерал, над гимназией-то набольший; он, слышь, допрашивал учеников, кто что знает и куда после выучки идти хочет. Полюбись ему мой Митька, бойко, слышь, из книг гораздо ему отвечал. Спрашивает его генерал: чей сын, откуда родом и куда хочет. А Митька ему: «Так и так, ваше превосходительство, сын я первой гильдии купца Корнилы Красильникова, оченно бы хотелось в ниверситет, да тятенька не пущает…» Ладно, хорошо!.. Сижу я у шурина, глядь, губернский лакей на двор, в золоте весь… Что за оказия?.. – «Где, говорит, Корнила Егорыч Красильников?..» – «Здесь, говорю, я самый и есть». – «Ступай, говорит, к генералу обедать». Усомнился я, думаю – прошибся лакей: к другому послали, а он ко мне… Нет, ко мне в самом деле… Честь не малая: сам губернатор обедать зовет: «Ты, говорит, Корнила Егорыч, приходи моего хлеба-соли кушать». Пошел, благо день-от скоромный был – вторник.

Посадил меня губернатор с собой рядышком; а тут еще сидел генерал, которому Митька-то мой полюбился, да губернаторша, да две барышни – дочки губернатору-то – красовитые из себя, только уж больно сухопароваты. Губернаторша сама изволила мне похлебки в тарелку налить, губернатор из своих рук вином угощал… Вот оно что!.. И стали они меня улещать: «Ты, говорят, Корнила Егорыч, поперек Митьки не ходи: из мальчугана, говорят, выйдет прок – пусти его до конца доучиться». А генерал-от, что его возлюбил, обещал ему заместо отца быть, «как за родным детищем, говорит, пригляжу, баловаться не дам, да и парень-от, говорит, он у тебя не такой, баловником не смотрит…» Сами посудите, ваше высокородие, можно ль тут поперечить им? Два генерала ровно с ножом к горлу пристали: пусти да пусти Митьку доучиться! Губернаторша тоже: «Ты, говорит, Корнила Егорыч, не губи своего детища рожоного, не отымай у Митьки счастья. Бог, говорит, за это тебе не попустит!» Послушался… Больно не хотелось, чуяло сердце… А послушался – потому нельзя: начальство не свой брат – стоя без шапки да переступая с ноги на ногу, много не накалякаешься…

Собрал Митьку в Москву. Марья Андревна хоть не родная мать, а в гору было полезла. И руками и ногами: «Не пушу, говорит, Митеньку на чужу сторонушку…» Да что она?.. Баба, бабе плеть – вот и все… Призвав бога в помощь, Николу на путь, снарядил я Митьку; да на прощанье, перед благословенной иконой, взял с него зарок, чтоб после выучки не ходил он ни в офицеры, ни в приказные, а был бы всю жизнь свою купцом и кожевенным заводчиком. А Митька, ну уж двадцать первой тогда ему шел, на полном смысле значит: «Не бойтесь, говорит, тятенька, никуда не пойду, буду вам на старости печальник, на покой души помянник, а выучусь, буду то и то, заведем мы с вами такое да этакое…» Да уже так красно говорил, что нехотя верилось!..

Четыре года Митька в Москве выжил, учился на первую стать, а в праздники там какие, аль в другие гуляющие дни, не то чтоб мотаться да бражничать, а все на фабрику какую, аль на завод, да на биржу… С первостатейным купечеством знакомства свел, пять поставок юхты уладил мне, да раз сало так продал, что, признательно сказать, мне бы и во сне так не приснилось…

Нашего уезда помещик есть Андрей Васильич Абдулин. Не изволите ль знать? У него еще конный завод в деревне… Тут вот неподалеку от Федяковской станции, – ехали сюда, мимо проезжали. Сынок у него Василий Андреич вместе с моим Митькой учился и такой был ему закадычный приятель, ровно брат родной. Митька у господина Абдулина дневал и ночевал: учиться-то вместе было поваднее… Ох, пропадай эти Абдулины! Заели век у старика, погубили у меня сына любимого!..

Отучился Митька, дали ему медаль золотую: не то чтоб на шею, а так, карманную… И в газетах пропечатали: «выучился-де такой-то Дмитрий Красильников в кандидаты»… Домой

приехал, заводом занялся: то уладит, другое переменит, то чан, зольник, то другое что. Сперва-началу-то я было побаивался: испортит, думаю. Нет: восемь копеек лишков на сале взял, семь копеек на юхте. А все его разумом да старательством. Отец ведь, кажись, отец, а – сыну родному позавидовал… Вот каков был умница!.. А бережливый какой!.. Только и изводил деньги, что на книги… Бывало, как месяц прошел, так из Москвы короб с книгами ему и шлют.

Пожил Митька у меня месяцев с восемь. Андрей Васильич Абдулин той порой на теплые воды собрался жену лечить. Ехал в чужие край всей семьей. Стал у меня Митька с ними проситься. Что ж, думаю, избным теплом далеко не уедешь, печка нежит, дорога разуму учит, дам я Митьке партию сала, пущай продаст его в чужих краях; а благословит его бог, и заграничный торг заведем!.. Тут уж меня никто не уговаривал – враг смутил!.. Захочет кого господь наказать – разум отымет, слепоту на душу нашлет!..

Три года ездил мой Митька, продавал юхту бродским жидам, по салу с самим Лондоном уладил дела… Большие пошли барыши – в три-то года рубль на рубль нажил я!.. Не нарадовалось сердце!.. Экой сын-от, думаю… На что московские купцы, и те завидовали… Всем стал знаем мой Дмитрий Корнилыч Красильников. А я? Чем бы бога благодарить, колокол бы вылить аль иконостас поставить… согрешил, окаянный, возгордился – барыши стал считать да сыном хвалиться!.. Думы-то были за морями, а горе за плечами!.. Где теперь мой разумник? Чем теперь похвалюсь?.. Не родиться б ему!.. Дай-ка мне пуншу, Петрович, да крепче налей!..

На четвертый год воротился из-за моря… Господи, что было радости!.. Письма от купцов заграничных привез: товару просят, Митьку хвалят. Замышляли мы с ним свой корабль снарядить, да еще бы года три-четыре побыл у меня Митька в разуме, два снарядили бы… Думали в Питере контору открыть, дом купить, загадывали в Лондоне приказчика держать… И все тогда казалось мне таково сбыточно, как вот теперь стакан пуншу выпить… Ан нет… людское счастье, что вода в бредне! Величался почетом своим, величался сыном разумным и не знал никого счастливее себя!.. Все суета… В море потоп, в пустыне звери, в мире беды да напасти!..

Двадцать девятый Митьке пошел: давно пора своих детей наживать. Правду говорят, что и в раю тошно жить одному. Семейная каша погуще кипит, а холостой век проживет да помрет – собака не взвоет по нем…

За невестами дело не стало бы: рот разинь – из любого дома бери… Первостатейные, мильонщики, фабриканты сами с дочками напрашивались, сами письма писали. И стал я Митьке советовать: пора-де тебе и закон совершить… Только выбирай, говорю, жену не глазами, а ушами, слушай речь, разумна ли, узнавай, в хозяйстве какова. С лица не воду пить: красота приглядится, а щи не прихлебаются. А пуще всего смиренство да разум: это на всю твою жизнь пригодится. На богатство не зарься: у самих, слава богу, довольно. Приданое что? В потраве не хлеб, в долгах не деньги, в приданом не животы…

Говорю этак Митьке, а он как побледнеет, а потом лицо все пятнами… Что за притча такая?.. Пытал, пытал, неделю пытал – молчит, ни словечка… Ополовел индо весь, ходит голову повеся, от еды откинулся, исхудал, ровно спичка… Я было за плеть – думаю, хоть и ученый, да все же мне сын… И по божьей заповеди и по земным законам с родного отца воля не снята… Поучу, умнее будет – отцовски же побои не болят… Совестно стало: рука не поднялась…

Той порой из чужих краев Андрей Васильич воротился. Дом купил в городе, рядом со мной. Митька там и днюет и ночует, от дела даже отстал, придет на завод – смотрит в оба, а не видит ничего. А рабочие, сами изволите знать, народ бестия – тотчас смекнули и давай добро по сторонам тащить… Да что завод?.. Пропадай он пропадом, огнем гори, сгинь все, что нажито!.. Митька-то разум терял – вот где напасть-то!.. Кровавыми слезами ее не вымоешь!.. Верите ль богу? Старик я, старик, а плакал, бабой ревел и ему, сыну-то своему, рожденью-то своему, покорился!.. Да, покорился… Слезами обливаючись, упрашивал, умаливал его

рассказать про кручину, что его одолела!.. Не вытерпел слез моих Митька – сказал!.. Лучше б на ту пору язык у него отнялся!.. Пуншу, Петрович!.. Да лей рому побольше, собака!..

Немка жила у Андрея Васильича, за дочерью ходила. По найму жила, полторы тысячи ассигнациями ей давали… Девка безродная, откуда – бог весть, так, шаверь какая-то!.. А веры ихней еретицкой, не то люторской, не то папежской – да это все равно – такая ли, сякая ли, одна нехристь… Митька и бух мне: за морем-де слюбился с нею и окромя ея ни на ком в свете не женится… Так меня варом и обдало!.. В землю бы лег, гробовой бы доской укрылся, только бы этих слов не слыхать!.. «В уме ль?» – говорю. А он свое!.. Корнями обвила, еретица, на богатство польстившись!.. Да чтоб этому быть, чтоб я сам себе бороду оплевал!.. Да весь мой род переведись!.. По миру пойду, на гноище середь улицы лягу, а такого срама не возьму на себя, не возьму покора от роду, от племени!.. «Слушай, – говорю Митьке, – вот тебе счеты: поезжай в Коренную, оттоль прямо в Нижний к Макарью, по осени в степь за скотом». Проветрится, думаю, дурь-то вытрясет. «А поедешь, говорю, Москвой, побывай у Архипа Иваныча Подколесникова, у него дочка не немке чета: тоже на всяких языках говорит, в купеческом собрании пляшет, а на музыке позакатистей немки играет… А главное – благочестивых родителей дочь, не еретица поганая…» Митька было перечить, а я ему: «Слушай, говорю, хоть ты и барином глядишь, а воля с меня не снята: возьму варовину – не пеняй!» Замолчал.

Вечером Андрей Васильич пришел ко мне. Спервоначалу так себе о том, о сем покалякали. Потом речь на немку свел, хвалит ее пуще божьего милосердия. Я слушаю да думаю: что еще будет! Говорит, она-де и креститься может; господа-де женятся же на немках. Смекнул, к чему речь клонит, говорю ему: «Господам и воля господская, а нашему брату то не указ. Вы мой гость, Андрей Васильич, грубой речи вам не молвлю, а перестанем про еретицу толковать… ну ее к бесу совсем!» «Да мне, говорит, Димитрия Корнилыча жалко».

«Вам, говорю, жалко, а мне вдвое жалчей: я ведь отец, хоть детское сердце и в камне, да отцовское в детках… Да знаете, говорю, Андрей Васильич, русскую пословицу: «Свои собаки грызутся, чужа не приставай». Замолчал.

Митька всю ночь проревел. Я уж дал волю… Проревется, думаю, легче будет. Самого меня от хлеба откинуло: отец ведь, каков ни будь сын – все болезнь утробы моей!..

Поутру в сад я пошел. Обрезываю с яблони сухие сучья у самого абдулинского забора. Слышу, Митькин голос!.. Припал ухом к забору – и ее голос!.. Говорят не по-русски!.. Из моего-то сада калитка тогда была в абдулинский сад – я туда. Свету не взвидел… Митька с немкой обнявшись сидят, плачут да целуются!.. Увидавши меня, бежать шельма, – знает кошка, чье мясо съела… А Митька в ноги… «Батюшка, говорит, мы ведь повенчаны!!»

Остамел я, услыхавши срамоту на мою седую голову… Зелень в глазах заходила, к сердцу ровно головня подкатилась!.. На лежанке очнулся, не помню, как и добрел!.. Выдался денек! Пять лет на кости накинул!.. Андрей-от Васильич хорош!.. Приятелем звался, хлеб-соль водил, денег когда займовал, а у Митьки на свадьбе в посажёных был!.. Где-то за морем, пес их знает, свадьбу сыграли… Без моего-то ведома, без родительского благословения!.. Вот они, друзья-то!.. За наше добро нам же рожон в ребро!.. Да и теперь на меня во всем вину валит! Сына, слышь, я погубил! Сами посудите, ваше высокородие, чем же я туг причинен, чем виноват?.. Ведь я отец – а ведь и змея своих детей бережет?.. Ученье всему виной, ученье!.. Не я ж в самом деле!.. Еще, слышь, Сережка да Марья Андревна на Митьку-де мне наговаривали!.. Как же!.. Не догадался б без них!.. Так вот!.. Язык-от без костей!.. Вот что…

На другой день иду от ранней обедни – немка встречу. Не стерпело – зашиб: ударил маленько. Откуда ни возьмись Митька – отнимать ее… Сердце меня и взяло: его в сторону, немку за косу да оземь… Насилу отняли… Уж очень распалился я…

Тяжела, видно, свекрова рука пришлась!.. Зачахла. Месяцев через восемь померла. Ха-ха-ха!.. Слава богу, думаю, теперь у Митьки руки развязаны, поревет-поревет, да и справится…

Быль молодцу не укора, будет опять человек… Да беда не живет одна: ты от горя, оно тебе встречу; придет чаша горькая – пей до дна…

На другой день похорон пришел Митька домой… Господи батюшка!.. Никогда этого за ним не важивалось!.. Вот оно где, горе-то неизбывное!.. Митя, мой Митя!..

Крепись, Корнила!.. Терпи, голова, благо в кости скована!.. Эх, изведал бы кто мое горе отцовское!.. Глуби моря шапкой не вычерпать, слез кровавых родного отца не высушить!.. Пуншу, пуншу, Петрович!..

– Что ж потом сталось с ним? – спросил я после долгого молчания.

– Не пытайте отца!.. Горько!.. Упился я бедами, охмелился слезами!.. Петрович! лей до краев!..

Дедушка Поликарп
Рассказ

Приехавши на Валковскую станцию, вышел я из тарантаса, велел закладывать лошадей, а сам пошел пешком вперед по дороге. За околицей, у ветряной мельницы, сидел старик на завалинке. На солнышке лапотки плел. Я подошел к нему, завел разговор. То был крестьянин деревни Валков, отец старого мельника, все его звали дедушкой Поликарпом.

Сколько ему лет – никто не знал, и сам он не помнил. Одно только сказывал, что нес тягло еще в ту пору, как «царица Катерина землю держала». Крепко жаловался старина на нынешние времена, звал их «останными», потому-де, что восьмая тысяча лет в доходе и антихрист во Египетской стране народился. Слово за слово, разговорились мы с дедушкой.

– Что, – спросил я его, – много ль помолу на мельнице-то?

– Какой помол, родименький! Какой помол! Наши места бесхлебные. У нас, кормилец, по всей волости хлеб-от плохо родится. Каков ни будь урожай, доле Святой своего хлеба не хватит; иной год с Тимофея-полузимника[3] на базаре покупаем.

– Земли-то у вас, кажется, довольно.

– Эх, родименький, какая земля по нашим местам! Много ее, да пути-то нет. И велико поле, да не родимо. Погляди, какова землица-то: лес да песок, болота да мочажины… Какой у нас хлеб?.. Земля же холодная: овсы иной год уродятся, ну и льны тоже, а рожь завсегда плоха бывает. А ежели насчет пшеницы аль проса, так этих хлебов у нас и в заведении нет, семена погубить, ежель посеять. Гречей тоже мало займуются, для того, что каждый год морозами ее, сердечную, бьет. Такие уж наши места!

– А в старину как бывало?

– Как можно в старину! В старину все лучше было, на что ни взглянешь, все лучше было. И люди были здоровее, хворых да тщедушных, кажись, и вовсе не бывало в стары-то годы. И все было дешево, и народ-от был проще, родимый ты мой. А урожаи в стары годы и по нашим местам бывали хорошие. Все благодарили создателя. У мужичка, бывало, года по два да по три немолоченый хлеб в одоньях стоит… А в нынешни останны времена не то… Объезжай ты, родимый, все наши места: и Заузолье, и Ячменскую волость, и Лыковщину, и Жары, нигде ты единого одонья не увидишь, чтобы про запас заготовлен был. В стары-то годы, родименький, «кули ж к и»[4] жгли, на них рожь-то, бывало, сам-восемь да сам-десять… А в нонешни года кулижек жечь не велят – лесные завелись, полесовные. От этих от самых лесных кулижка теперь в такую цену станет, что палить ее уж и не из чего… А бывало, в старину-то, в летнюю пору, перед Ильиным днем, куда ни поглядишь – там из лесу дымок, в другом месте, в третьем… Иной раз местах в десяти разом горит… А нынче не велят, запрет положон.

– Что ж это за кулиги такие, дедушка, для чего они?

– А пилини, ли, родной… Пойдет, бывало, мужик в лес, свалит ельнику, сколько ему надо, да, сваливши деревья, корни-то выроет, а потом все и спалит. А чтоб землю-то получше разрыхлить, по весне-то на огнище репы насеет. А к третьему Спасу[5] хлебцем засеет. Землица-то божья безо всякого удобренья такой урожай даст, что господа только благодарить… Сам-восемь, сам-десять урожай-от бывал. А теперь не то, – с глубоким вздохом прибавил дедушка, – теперь не велят кулижек палить.

---

[3] Двадцать второе января. *(Прим. автора.)*

[4] Кулига – то же, что валки, чища, чищоба, огнище – расчищенный, выкорчеванный и выжженный под пашню лес.

[5] Шестнадцатое августа.

– Да нельзя же, дедушка, волю над лесом дать. Пожжешь его без толку, так после не то что на отопку, на лучину ничего не останется.

– Вестимо, родименький! Известно дело, мужику нельзя в лесу воли дать… Как можно! всякое запрещение для порядков делается. Только земля-то у нас уж больно скудна, без навоженья ничего не родит. Такие уж наши места! Семена надо сгубить, коль хорошенько не унавозишь полосу. А на кулижках-то и без навозу хлебец родился. Так-то оно и хорошо было.

– Что ж вы получше не навозите землю-то? Навозьте ее больше.

– Вестимо так, родимый, землю по нашим местам как можно больше надо навозить. Какого хлеба с нее без навоза взять? Без навозу никак нельзя… Только скотинка-то у нас больно плохонька. Вот что, кормилец!.. Уж куда с нашими коровенками землю удобрять как следует!.. Никак невозможно… Посмотри-ка ты, какая по нашим местам скотина? Сама лядащая, именно, как пословица молвится: «коровенка меньше котенка». Слава только одна, что скотина. Вон на Горах[6] скотина хорошая, крупная: кажда корова барыней смотрит, оттого там и хлеб родится хорош. А у нас что? Места уж такие у нас.

– Так заведите хорошую скотину.

– Известно дело, родименький, что от хорошей скотины больше навозу… Это так, это ты истинну правду молвил… А нам без удобренья никак невозможно… Вот начальники-то наши, дай им бог многолетно здравствовать, хермы[7] тоже у нас завели и скота хорошего пригнали на них… Такой славный скот, что любо-дорого посмотреть. И мужичкам было хотели давать на племя такую скотину, строгостью даже приказывали разбирать ее по дворам безданно-беспошлинно… Дай бог им здоровья, господам начальникам… Уж такое они об нас глупых попечение принимают, что сказать нельзя. И не стоим мы таких милостей. Право слово, не стоим.

– Нарасхват, чай, разобрали жалованных-то коров?

– Как возможно, родимый? Нам ли таку скотину держать?.. Нет, нечего бога гневить, помиловало начальство: ни единой коровки не дали… Всей волостью поклонились тогда мужички управляющему, почем там с души пришлось, поблагодарствовали… Дал господь – откупились. Помиловали начальники, дай бог им, нашим добродеям, здоровья – не роздали коровушек. Прописали, где следует: «желающих не оказалось».

– Как же так, дедушка? Даром такое добро вам давали, а вы не брали? Что ж это значит?

– А то значит, родимый, что уж такие у нас места… Место месту ведь рознь. Начальники-то наши, известно дело, каждому человеку добра хотят, одначе ихне добро в ином месте впрямь добром выйдет, только надобно будет бога вечно молить за него, а в ином, может, и неподалеку где-нибудь, от того добра мужик-от волком взвоет… Земля-то наша святорусская больно уж велика стала, кормилец: с одного-то места ее не обозришь… Вот, примерно сказать, про казенну скотину мы с тобой калякали: по здешним местам наши лядащие коровенки не в пример способней крупного скота. А каких-нибудь за тридцать верст, хоть у нагорных, крупна скотина – истинно бесценное сокровище. У нас ведь по всем нашим местам поемных лугов вовсе нет, и пожней-то, сенных – то, значит, покосов маловато. По плантам и много, да в наличии не предвидится… Да и что за покосы? Белоус, да осока, да донник – и все тут. На что наши коровенки, и те по раменям пасутся, а сыты не бывают, зимой стоят на соломе, для того, что посыпки-то взять негде, и на свой-от обиход хлебушко с базару покупаем… Ну, от такого корму не диви, что здешняя скотина – кожа да кости. По этому по самому крупному скоту у нас и невозможно быть: зимним делом и сам голодом насидишься и жалованну корову сморишь; а летом где ее пасти? У нас по покосам да по раменям: собашник, болиголов, лютик, бешеница, молочай, жабник[8]. Ну как казенна-то корова да нахватается этой дряни, с голодухи-то?

---

[6] На Горах – значит, на правой стороне Волги. «Нагорные» – жители правой стороны Поволжья.

[7] Фермы.

[8] Собашник – Cynoglossum officinale; болиголов – Chauronyllum; лютик – Aconitum, бешеница – Cicuta virosa; молочай–

Вези под овраг да принимай от начальства остуду, не умел-де, мошенник, жалованной скотины соблюсти. И то сказать, в способных-то местах не хитро дело мужику казенну корову во двор взять, да хитрое дело держать ее. Дадут тебе корову и надзор приставят к ней. Зачнут к мужику наезжать, понаведаться: здоровенько ли, мол, жалованна-то коровушка поживает, держит ли хозяин ее в тепле да в холе. А ведь сам ты, родименький, знаешь, что наезд-от начальства из мошны деньгу волочит: и курочку ему заколи, и говядинки купи, и калачика, а по питейной части, окромя простого, виноградненького потребуется. По этому по самому, родимый, мужички наши от казенного скота и откупились, для того, что жалованна-то корова не в пример дороже купленной обойдется. Нет, на что уж нам хороши коровы?.. Нам бы вот кулижки позволили, век бы стали бога благодарить.

– Сам же ты, дедушка, сказал, что кулижки лес губят и что запрет на них положен ради порядков.

– Вестимо, родименький. Знамо дело, для порядков. Как же нам жить без порядков?.. Никак нельзя… Примером сказать, хоть об лесе, нельзя не молвить, что губленье губленью розь… Сам посуди, кормилец, какое губленье лесу от кулижки? Много ли места под нее надоть?.. И то сказать – лес-от на кулижки палят ведь не строевой, не дровяной, а больше все заборник да прясельник. А заборнику да прясельнику по нашим местам такое место, что, как ты его ни руби, он из земли так и лезет, ровно прет его оттуда кто.

– Дедушка! да ведь от прясельника и хороший лес загорится. Тогда что?

– А как ему загореться-то, родимый?.. Хорошему-то лесу? Лесной-от пожар по низу не ходит, верхом все. А кулижку-то прежде повалят да потом зажгут – она и горит низом, по верху ходу ей нет.

– Как же можно попусту лес губить? Жечь его задаром? Жаль такого добра.

– Точно, правда, родимый. Лес – вещь дорогая, дорогая, кормилец; как не жаль леса, когда он горит? Уж так его жаль, так жаль, что и сказать не можно. Как этак увидишь, что лесок-от где-нибудь загорелся, так горько станет, подумаешь: «Вот ростил его господь долгия лета, и стоял он, человека дожидаючись, чтоб извел на показанную богом потребу, а теперь за грехи наши – горит без пути»… Да вот неподалеку от нас, в Наумовской волости, такая Палестина лесу выгорела, подумать страшно: от Рожествина, почитай, до Толмазина, верст на тридцать выхватило. А лес-от был кондовый, дерево-то не охватишь. Загорелось от божьей воли, от молоньи, а друго дело, не знаю. Ну, дерево-то хоша и обгорело, а все-таки было годно для того, что в лесном-то пожаре только хвоя да сучья горят, а самому дереву вреды нет. Наши мужички и хотели было купить тот горелый лес, на сплав чтоб его в низовы города. И купцы приезжали, не по один раз смотрели, тоже хотели купить. За весь-от, что его погорело, два ста тысяч на монету давали, а Василий Трофимыч, что нами в ту пору заправлял, отписал к самому большому начальству, что тех денег взять мало, коли, дескать, сделать торги, так больше дадут. Требовал, видишь, родименький, Василий-от Трофимыч двадцать тысяч благодарности, а его не ублаготворили. Поэтому и прописал, чтобы лес не продавать, казне-де убытки будут. На третий год после пожару межевой наезжал, велено ему было доподлинно вымерять, много ль погорело казенного лесу, и сосчитать, сколько придется на продажу бревен, и какой толщины будут они. Ну, Палестина не малая – скоро ли ее вымеряешь? Наезжал года по два, – да все-то, кормилец, в саму рабочую пору. Понятых сбивал, подводы, ну и благодарности тоже требовал, без того уж нельзя. Да окромя благодарности харчевые, да свечные, да питейные. Однех питейных что вышло! Человек-от был пьющий, народ-от с ним тоже до винца охочий; бывало, каждый божий день два либо три штофа пеннику. Ну, послал межевой план-ты, куда следует; по времени и вышло об лесе решенье: торги произвесть, кто больше даст, тому его и продать. А решенье-то выслали после пожару на восьмой год; той порой лес-от подгнил, ветром его пова-

---

Euphorbium palustre; жабник – Ranunculus bulbosus – травы более или менее ядовитые.

лило, и остались одне гнилые колоды; лежат комлем вверх и новому лесу расти не дают, корни-то выворотило, землю от того всю изрыло. Не то, чтоб купить, – с казны еще стали просить, место-то бы только очистить… Так и запропало божье место: гарь теперь одна, не пролезешь. Грибы даже не растут, только и пользы, что малиннику много разродилось. Место хоть совсем брось, только беглым да скрывающим скитникам жилье уготовали, а больше ничего… Так вот оно что, родненький! – промолвил дедушка, немного помолчавши. – Как можно сказать, чтоб мы не жалели лесу! Сердце кровью обольется, как завидишь лесной пожар. Думаешь: «Ну как и этот лес задаром пропадет?» Как нам не жалеть лесу, родимый? Ведь его бог не про кого, что про нас, вырастил.

– Ты сказал, дедушка, что хлеб-от у вас плохо родится. Что ж, промыслами кормитесь?

– Как же, родименький. Промыслом только и живем, издельем то есть. Хлебца-то мало, кулижек-то палить не велят, так мы все больше около леску промышляем. Котора деревня ложки точит, котора чашки, по другим местам смолу сидят, лыко дерут, рогожи ткут: только леском и живем, родимый! Оттого-то лесок-от и люб нам, оттого-то мы его и жалеем – ведь он наш поилец, кормилец.

– За попенные лес-от берете?

– За попенные, кормилец, за попенные. Как же можно без попенных? Не велят. Да попенные что? Деньги не великие, заминки только много от них… Лесной-от тоже ведь барин, стал быть, благодарности требует. Да это бы еще ничего – без благодарности как же ему и быть, на то он лесной. А вот иные больно неподходящи бывают и на руку крепки: чуть ему слово, он тебя изобьет, как ему хочется. Станешь с ним порядком говорить, а он свое: «Разве, говорит, не знаешь, что ты весь в моих руках – застану, говорит, с топором в лесу, до смерти могу убить… Знаешь ли, говорит, что, когда лесной порубку преследует, дозволяется ему вора из ружья застрелить? Так поэтому ты, говорит, и должен ухо востро держать и меня почитать больше, чем исправника аль окружного, потому что те только спину тебе вздерут, а я, ежель захочу, до смерти могу застрелить».

Наш лесной Иван Васильич – добрый, хороший барин, а этак же иной раз нашего брата попугивает. Спервоначалу-то думали – морочит: «Как же можно ему человека застрелить», этак, знаешь, думаем. Да грамотеи из наших мужичков доподлинно в законных книжках вычитали, что лесная стража, ежели кого преследует, может того человека убить, и смертное убийство в грех ей не вменяется. Такая статья есть, кормилец… От этого лесной нашему брату страшней всякого: другой барин, как велик ни будь, все-таки живота лишить не может, а лесному это, стал быть, можно. Правду сказать, таковых случаев не слыхать, а все-таки страху много. Как же после того не ублаготворишь ты его? Умирать не своей смертью кому охота? Хоть, может быть, он только для острастки такие речи говорит, однако ж все дело в его руках. Ну, а как стрельнет? Тогда что?

Вот еще эти издельны билеты у нас! Такую заминку делают, что просто не приведи господи! Что мужик ни сработает: смолы ль насидит, кадушек ли, ведер ли наделает, чашек ли наточит, – на всяко изделье, как его на продажу везти, должен у лесного билет выправить. И в тот билет на дороге всякий у тебя смотрит, ленивый разве про билет не спрашивает. И на перевозах с ним задержка, и на базаре хлопот не оберешься. А в города да на ярмонки лучше не езди. Всякий там с тебя сорвать норовит: и городничий, и квартальный, и исправник; будочник привяжется – и будочника ублаготвори, не то скажет, что изделье из краденого леса: тебя после по судам и затаскают. А билет дают один, сколько мужик ни наработает товару, ему все один билет. Иной раз и повез бы изделье сам на базар, а сына на другой бы послал, да страшно: билет-от не разорвать стать, а куда без билета приехал, там скажут, что ты воровское изделье привез, и так тебя оборвут, что долго будешь помнить, каково без издельного билета на базар выезжать.

Тоже вот и насчет штрафных за неуборку вершин и сучьев. Это уж выходит для нас немножко и обидно, родименький. Сам ты посуди, кому хочется штрафованным быть? Штраф-от хоть не велик, да слов-то будто обидно. Да этот же штраф лесной берет наперед, заодно с попенными, точно тому делу так и надо быть, чтобы каждый человек штрафился. Ты возьми хоть два, хоть три гривенника – за тем мы не стоим – да штрафом-то не зови, а то ведь, что там ни говори, все же выходишь ты человек нехороший, коли штраф с тебя взят. Да что еще лесной-от говорит, как придешь к нему за билетом: «Ты, говорит, вершины-то да сучья не убирай, а как от этого казенному лесу порча, так и подай за то гривенник штрафу, да подай наперед, чтоб после мне тебя не разыскивать». Оно и обидно таки речи слушать: ведь это все одно, что скажут тебе, казну-де ты обворовал. Таким делом обзывать невиноватого, кажись бы, не надо.

А куда убирать вершины да сучья – ни у нас, ни по другим волостям мест не отведено… А места наши ровныя: ни гор ни оврагов верст на сотню во все стороны нет, валить-то вершины да сучья и некуда. Раз было – кучились мужики лесному, всем миром кланялись, «укажите, мол, ваше благородие, такое место». Так он поди-ка как разлютовался. «Учить, говорит, меня вздумали? Об вас же, говорит, начальство заботу принимает, нарочно штрафы учредило, чтоб вас от дела не отрывать, а вы же, мошенники, еще неблагодарны остаетесь? Да пикни, говорит, у меня кто-нибудь хоть единое слово, не то что без промыслу – без дров, без лучины оставлю. Лишу и тепла и света на всю зиму зименскую». Да весь мир взашей. Опосле еще похвалялся нашему голове: «Вот, говорит, отведу я им место верст за пятьдесят, так узнают кузькину мать». Что ты станешь делать, родимый мой?

Да наш барин – добрый и смирный. Иван-от Васильич. Бога надо благодарить за такое начальство. Просто сказать – душа-человек. Другой раз и покричит, и побьет, и убить из ружья погрозится, а все же с ним говорить хоть можно – на речи охочий. И много еще милости оказывает, дай бог ему многолетнего здравия. Хоть бы насчет лажу. Ведь прежде, родименький, целковый-от четыре рубля двадцать пять копеек ходил, а потом его на три с полтиной поворотили. Теперь деньги у мужика хоть и те же, да счетом-то их стало меньше, оно будто их и не хватает. И по всем местам в нынешни времена, где ни послышишь, лаж-от везде порешился, а наш Иван Васильич, дай бог ему здоровья, до сих пор лажем милует. Попенны деньги, те на серебро берет, а насчет иных сборов, которы ему следуют: за троицки березки, за веники, грибной сбор, ореховый, за стрельбу дичины, дровяные, лучинные, харчевые, это все дай бог ему здоровья, с лажем принимает. Оно нашему брату и повыгодней… Поэтому – хоть иной раз Иван Васильич какого непослушника и поизобидит, а все ж мы довольны им остаемся: отец родной – не барин.

За таким лесным, как Иван Васильич, дай ему бог многолетнего здравия, жить можно, и только бога надо благодарить… А вот в Липовской волости лесной-от Петр Егорыч – вот уж беда: строгий-настрогий и самый не подходящий. Слова с мужиком не молвит, глядит волком и все норовит тебя в зубы. Как ты его ни ублаготворяй, ему все мало. «Место мое, говорит, в Питере, не у вас в трущобе с волками да с медведями, так за это за самое, говорит, ты и должен меня ублаготворить. Да помни, говорит, расканалья ты этакая, что надо мной есть палата, и потому я сам под сборами нахожусь». Что с таким барином поделаешь? А нашему брату без лесу никак невозможно; лесом только и живем.

Придет к Петру Егорычу мужик за билетом, попенны принесет, ну и почести сколько следует, да коли барин на ту пору в сердцах – в карты проигрался, аль жену в город за покупками снаряжает, заломит он такую благодарность, что затылок затрещит. А как мужик заартачится, да в цене не сойдутся, Петр Егорыч ему и молвит: «приходи завтра». Завтра да завтра, да дело-то до Евдокеи-плющихи[9] и дотянет. Придет мужик на Евдокею, он билет ему выдаст и окромя

[9] Первое марта.

попенных, – каков есть медный грош, – не возьмет. И давать станет, еще зарычит, ровно медведь: «Я человек благородный, на подлости не пойду, мундира марать не стану. Как ты смел, говорит, мошенник этакой, взятку мне давать? Да за это, говорит, в Сибирь можешь угодить, коли я захочу». Швырнет благодарность-то, обругает, иной раз поколотит. А в билете пропишет, что выдал его не на Евдокею, а на Крещенье, либо на Спиридона-поворота[10]. Мужик, коли не был учен, сдуру-то, пожалуй, обрадуется, что дешево выправил билет, да на радостях за топор – и в лес. И только что успеет он свалить деревья, что в билете прописаны, Петр Егорыч перед ним ровно из земли вырос. Вспороть прикажет, веревками руки-ноги скрутит и велит полесовным в город его везти, – рубил-де не в урочное время. Потому, видишь ты, родименькой, с Евдокеина-то дня рубке лесу запрет, для того, что тут в соку он бывает. Ну, ладно, хорошо. Наругается досыта, ружье на мужика наставит, говорит: «Убью и отвечать не буду: черту баран готов ободран. Давай пятьдесят целковых, не то по суду больше возьмут». Есть у мужика деньги – даст, нет – под суд его. Там и распоясывайся как знаешь, да еще в тюрьме насидишься.

Попался этак ему мой внучек, деревни Жужелки крестьянин, Василий Блинников. Моя-то дочка, видишь ты, в Жужелку выдана: так Васька-то внучком мне и приходится. Затребовал с него Петр Егорыч шесть золотух; тот заупрямился, не дал. Он возьми да дело-то и затяни за Евдокею, на Сорок мучеников[11] билет-то выдал, а прописал, что выдан за день до Рождества. Васютка, делом не волоча, в лес: свалил пятьдесят, никак, дерев, что в билете прописаны, да только что свалил, Петр Егорыч и шасть на то самое место. Поругал, поколотил, убить погрозился, пятьдесят целковых спросил. Васька не дал; он его в город. Что ж ты думаешь, родимый? Оценили каждое бревно, по расписанию, в два целковых, да с Васютки по суду семьсот рублев на монету без лажу и взяли. Вдвое, вишь, по закону взысканье-то полагается. Что станешь делать? Мужик был справный, по всей волости немного таких было, теперь в разор разорили его. Пять лошадок держал, полная чаша, а теперь ровно бобыль какой, и коровенки-то ребятишкам на молоко даже нет. И в палату ходил к губернатору: везде сказали, что дело сделано, как быть ему следует.

Уж бранил же я Ваську и клюкой побил. «Зачем, говорю, пес ты этакой, не ублаготворил лесного шестью золотухами, зачем опять, говорю, не дал ты ему пятидесяти целковых, как он в лесу тебя накрыл?..» Да что толковать? – старого не воротишь. Да, родименькой, супротив ветру не подуешь… Вот за Васькино упрямство и покарал его господь. И сам-от разорился, и ребятишкам по миру придется идти.

Да, родименький, уж оно так и следует. На то и порядки установлены, чтобы их исполнять. Ведь они для нас же, глупых, начальством ставятся, без порядков како уж житье? А кто супротив порядков пойдет, тот отвечай спиной и мошной. Это уж так следует. Вот и внучку такие же речи я баял, да уж нечего делать. Ну как ему можно было согрубить перед Петром Егорычем?.. Ведь лесной – начальство, а по нашим местам начальство-то самое первое, для того что лесом только и дышим. А перед начальством имей голову наклонну, а сердце покорно. Начальства должно во всем слушаться, и велено за него бога молить. Как же можно было ему огорчать Петра Егорыча? И ближний человек, и болезнь утробы моей, а надо правду говорить. Что в самом деле?

И какой еще чудной Васютка-то! Чему скорбит! «Мне, говорит, не то обидно, что меня ободрали да нищим пустили, а то, что судили меня с Прошкой Малыгиным – ему особенные права дали, а меня разорили». А Прошка Малыгин, родименький, ихней же деревни мужичонка есть – вор отъявленный, давно ему место в Сибири аль в «рестанской» роте, да все только в подозрении остается. Спервоначалу-то и он был справный мужик, да хмелем зашибся, ну, а

[10] Двенадцатое декабря.

[11] Девятое марта.

зелено на пагубу дано, к добру оно не приведет. Съякшался Прошка с кабацкими сидельцами, пропил что было у него, стал из дому таскать, да старик-отец еще жив, приостановил. Связался Прошка с ворами да с беглыми солдатами и пошел за добром через забор ходить да на большой дороге у тарантасов чемоданы резать. Маялись с ним, маялись жужельски мужики – однако ж поймали с поличным. Суд наехал – временное, значит, отделение. Проживало в деревне недели две. Дорого обошлось жужельским Прошкино дело!.. Ведь кто по суду ли наехал, всякому припасай и чаю с сахаром, и вина, и всяких харчей. В две-то недели всех куриц в Жужелке перерезали, что баранов перекололи, а свиней, гусей и всякой животины не столь переели, сколь озорством разбросали. Да что тут говорить – известно дело: вор ворует – мир горюет; а вор попал – так и мир пропал. У Прошки обыск делан был: под полом много краденого нашли. Посадили Прошку в острог; сидит год, сидит другой, отъелся на острожных-то калачах – бык быком стал. На третий год Прошкино дело решили. Привели его в суд выслушивать решенье, и Васютку моего туда ж пригнали. Спервоначалу Ваське решенье вычитали: взять с него семьсот на монету, а после того Прошке стали вычитывать. Вычитывают Прошке такой суд: «Следовало бы тебя, деревни Жужелки вора, Прошку Малыгина, за твое великое воровство послать на житье в дальны губернии, да по статье закона замена выходит, и по этой статье следует тебя, Прошку, в «рестанску» роту на полтора года. А как-де в нашей губернии «рестанской» роты покамест еще не завели, так по этому самому случаю тебе, Прошке, по другой статье друга замена выходит: сидеть тебе, вору, в рабочем доме два года три месяца. А как в рабочем доме и без тебя, вора Прошки, много сидельцев и посадить тебя, мошенника, некуда, так по этому случаю выходит тебе по третьей статье третья замена: велено тебе, Прошке, дать восемьдесят пять розог при полиции». Прочитавши такой суд, судья спросил Прошку: «Доволен ли, говорит, решеньем?» А Прошка ног под собой не слышит: рад-радешенек, что заместо дальней губернии спиной ответить может. Поклонился судье в ноги: «Много, говорит, доволен вами, по гроб жизни, говорит, не забуду вашей милости». А судья ему: «Погоди, говорит, ведь тебе, вору, грабителю, еще особенны права будут». Прошка призадумался. «Что ж, думает, спину ль вдругорядь станут драть, в остроге ль еще сидеть доведется, аль и деньги потребуются?..» А судья ему: «Перво дело, говорит, не бывать тебе сиротским опекуном; второе дело: не будут тебя в свидетели брать; третье дело: не станут на мирской сход пускать; четвертое, говорит, дело: ни в головы, ни в старшины, ни даже в сотские аль в десятские не станут тебя выбирать во всю твою жизнь». Повалился Прошка в ноги, слезами заливается: «Отцы мои родные, говорит, благодетели вы мои, уж коли такие есть до меня ваши милости, нельзя ли приписать, чтоб и подвод-то с меня не брали?..» Однако ж подводами Прошку не помиловали, гоняет очередь с другими наряду.

Вот на это на самое и обижается Васютка: «Как же, говорит, это так? По Прошкину делу – вор Прошка; а по моему делу – вор не я. Как же с меня семьсот целковых взяли, а ему права дали и стал он теперь счастлив на всю жизнь?» «Ты, Васька, молчи, на то порядок, и всякому свое счастье, а надо всеми бог. И ты, говорю, бога не гневи: лесного почитай, супротивничать не моги, а кому какое счастье господь на суде посылает, не тебе, сиволапому, о том рассуждать. Как ты себе ни мудри, а бог над нами, и супротив начальников ходить не велено. А такая супротивность, говорю, как твоя перед Петром Егорычем, по всему хуже Прошкина воровства»…

В это время послышался колокольчик. Тарантас подъехал к мельнице, и я простился с дедушкой Поликарпом.

– А не можешь ли ты, родименький, кулижки-то нам выхлопотать? – проговорил он, когда я садился в тарантас.

– Эх, ты!.. Еще с кулигами тут! А ты знай ковыряй свои лапотки да язык-то не больно распушай, – молвил ямщик. – Еще кулиги захотел!.. Какие уж тут кулиги!.. Ехать, что ли, ваше высокородие?

– Поезжай. Прощай, дедушка.

И лихой ямщик помчал по гладкой дороге. Встречались мужики с бочками смолы, с ведрами, кадушками, корытами и другим лесным изделье. Они торопливо сворачивали с дороги и, издали сняв шапки, низко кланялись. Ждали, что и я потребую издельного билета.

Поярков
Рассказ

Ехал я большой торговой дорогой, обсаженной березками. Тут когда-то был почтовый тракт, потому и обсадили его. Торный путь набит сажен на шесть в ширину, и обозы по нем взад и вперед тянутся беспереводно, друг дружке не мешая, а широкая тридцатисаженная дорога впусте лежит; давно отдана в распоряженье гуртовщиков, что гоняют скотину из уральских степей с Нарын-Песков, с ярмонки у Ханской Ставки.

Проехав версты четыре, ямщик остановился, слез с козел, стал поправлять упряжь на коренной и посвистывать пристяжной. Колокольчик замолк. В стороне послышался дрожащий старческий голос: *Блажен муж, аллилуия, иже не иде на совет нечестивых, аллилуия, аллилуия.*

Я оглянулся: у дороги под ракитой сидел старичок в изношенном сюртуке, с котомкой за плечами; на траве возле него клюка и кожаный картуз. Утреннее солнце ярко освещало пепельного цвета лицо его и раскинутые по плечам седые, как лунь, волосы.

– Кто бы это? – сказал я путевому товарищу.

– Богомолец. И верно из дворовых. Был псарем либо музыкантом у богатого барина, век свой брил бороду, ходил в форменном казакине, до седых волос звался Мишкой либо Гришкой и служил верой и правдой. А как пришла старость, руки-ноги стали отставки просить, да увидал Гришка, что во дворне он лишним стал: то бабы на рубаху холста забыли ему наткать, то в застольной место ему на сажень от чашки – бух в ноги барину: «Увольте в Клев ко святым мощам на поклонение да к святителю Митрофанию». Таких много по большим дорогам.

Завидя нас, старик подошел и низко поклонился.

– Не в Ключищи ль изволите ехать, ваше высокородие? – спросил он.

– В Ключищи, а что?

– Окажите милость старику; позвольте на облучок присесть. Дело хворое – ноги болят. Сам бог не оставит вас.

– Садись, пожалуй, да ты кто такой?

– Титулярный советник Поярков.

– Садитесь, пожалуйста… Да куда ж вы? Вот здесь. Тарантас широк, троим не будет тесно.

– Помилуйте, ваше высокородие, смею ли я?.. Не извольте так много беспокоиться.

Насилу уговорил его сесть с нами.

– Где служили? – спросил я, думая, что это один из оставленных за штатом чиновников… Их тоже довольно на больших дорогах.

– Приставом второго стана Пискомского уезда Хохломской губернии.

– Долго служили?

– Больше десяти лет. А до того секретарем земского суда был, письмоводителем в городническом правлении – все в полицейских должностях…

«Десять лет становым – и на большой дороге нищим! Чудеса!..» – подумал я.

– Отчего ж не продолжали службу?

– Я-с… отрешен от должности с тем, чтоб впредь никуда не определять.

– Чем же занимаетесь?

– Как вам доложить?.. Ничем-с… По святым обителям странствую… Работать не могу – года уж такие.

– Частной бы должности поискали…

– Нельзя-с.

– Отчего?

– Указом Правительствующего Сената объявлен ябедником, хождение по частным делам воспрещено… К другому ни к чему не приобык. Оно, конечно, вона теперь много местов по пароходству на Волге и в компаниях, и жалованье хорошее, и можно бы приспособиться… И пытался… Да с моим аттестатом кто возьмет?

«Вот подхватил я гуся лапчатого», – подумалось мне.

– А впрочем, благодарю создателя, что не попал на место, – заговорил Поярков после короткого молчания, – а то не сподобил бы господь столько святыни видеть и недостойными устами своими к ней прикасаться, не привел бы узнать матушку Русь православную, как живется, как думается народу. Был я, ваше высокородие, в Клеве и у Почаевской Богородицы, в Воронеже и в Соловках, у Кирилла Белозерского, у Симеона Верхотурского, вкруг Москвы везде, – всю почти Россию пешком выходил. А ведь нашему брату, убогому страннику, в дворянские да в чиновничьи дома ходу мало: у мужичков больше привитаем, от их трапезы кормимся. От них-то и узнал я русский народ… Познавать его ведь можно только лежа на полатях, а не сидя за книгами да за бумагами, да разъезжая по казенной надобности.

Сначала подумал я, что если это не закоренелый мошенник, так, по крайней мере, плут и уж наверное пьяница. Недаром говорится: вор слезлив, плут богомолен. Но, вслушиваясь в звуки речей, всматриваясь в лицо Пояркова, больше и больше удивлялся… Ни сизого носа, ни багровых пятен на щеках, ни мутности в глазах, ни отека в лице, ни одного из признаков знакомства с чарочкой не было. Напротив, в глазах выражалось много ума и благодушия, в лице – много твердости характера.

– Послушайте, господин Поярков, – сказал я, – скажу вам прямо: вы меня удивляете… По вашему лицу, по вашим речам не видно, чтоб вы были…

– Шельмованный негодяй? – перебил Поярков. – Не ропщу на суд человеческий: творился он волею божией. Поделом я наказан.

– Но…

– Как ни будь крив суд человеческий, – перебил меня Поярков, – все-таки он творится по божьему веленью.

– Бывает однако, что невинные страдают!

– Бывает, что судье мзда глаза дерет, бывает, что судья неопытен и дела не разумеет, вершит не по закону, не по совести… Так… Но поверьте, что за каждым невинно осужденным были другие грехи, до людей не дошедшие, а к богу вопиявшие. За эти-то тайные грехи и осуждается человек под предлогом таких, каким он не причастен… На человеческом суде всего один только раз был осужден не имевший греха. Судьей тогда был Пилат.

Правда, – продолжал Поярков, – судья, что плотник: что захочет, то и вырубит, а у всякого закона есть дышло: куда захочешь, туда и повернешь. Да ведь и над судьей и над подсудным есть еще судия… Неужли он допустит безвинно страдать? Не палач он людей, а весь – любовь бесконечная… Судья делом кривит, волю дьявола тем творит, на душу свою грех накладывает, а в то же время, по судьбам божьего правосудия, творит и волю правды небесной, за ту вину карает подсудимого, которой и не знал за ним. Так-то на всякую людскую глупость находит с неба божья премудрость.

Хоть об своем деле вам доложу. Отрешен от должности вот за что. В деревне баня загорелась, ее раскидали. Подают объявление о пожаре: до деревни восемьдесят верст, а у меня сорок важных дел на руках, в том числе пятнадцать арестантских. Становому всех обязанностей исполнить нельзя, будь у него в сутках сорок восемь часов. Потому и держат они вольнонаемных писцов. Набирают их из вольноотпущенных, исключенных из духовного звания, из службы выгнанных, из лиц, состоящих под надзором полиции. Они и заправляют делом, а становой тем только занят, что поважнее да прибыльнее. И у меня человек с пяток таких было. Одного и послал я на следствие о пожаре; он допросы снял, дело как следует очистил, я

подписал, в уездный суд представили, решили там: «предать воле божьей». А мужичонка, бани хозяин, кляузник был, подал губернатору жалобу: был-де у меня поджог, а такой-то отпущенник поджигателей скрыл. Губернского чиновника прислали, тот нашел, что мужик врет, поджога никакого не бывало, а следствие в самом деле отпущенник производил, а я на нем учинил фальшивую, значит, подпись и совершил допросы и очные ставки задним числом… Подлог, значит!.. Губернатор был внове, а нова метла чисто метет – под суд меня. В уголовной 391 статейку и подвели: «лишение всех прав состоянии и ссылка в Сибирь на поселенье». Подмазал – смилостивились: уменьшающие вину обстоятельства нашли, решили «уволить от должности». А тут другое дело завязалось: «о похоронении на огороде без священнического отпевания некрещеного младенца матерью его, состоящею в расколе». Другой чиновник приехал. Прикосновенными были государственные крестьяне, стало быть, надо депутата. Чиновник меня и просит: «Нельзя ли, говорит, поскорей депутата прислать, всего бы лучше безграмотного прислать, да прислал бы свою печать поскорее, мы бы дело-то разом кончили. У нас, видите ли, говорит, на будущей неделе в Хохломске благородный театр будет, я, говорит, с губернаторшей «Женщину-лунатика» представляю, так достаньте, пожалуйста, поскорее депутата, да непременно безграмотного». Написал я к волостному писарю записочку, выслал бы такого-то старшину к чиновнику. Года через три попадись эта записка к моим лиходеям. Завели новое дело «о разглашении тайны», под 453 статью меня: за сообщение бумаг, отмеченных надписью «секретно», – отрешение от должности. Ведь изволите знать, что каждая бумага про раскольников, какая ни будь пустячная, сверху-то «секретно» надписывается. Бабы на базаре про дело толкуют, а ты «секретно» пиши… По совокупности преступлений меня и приговорили – отрешить от должности, чтобы впредь никуда не определять. Кому ни рассказать – всяк подумает, что не по вине страдаю. А осужден я достойно и праведно.

Теперь так говорю, когда господь умягчил мое сердце, а в те поры мыслил другое… Когда отрешили меня, остался я, на старости лет, без куска хлеба. Еще слава богу, что ни передо мной, ни за мной никого тогда не было – один как перст. Конечно, деньги были, да лихом нажитое прочно не бывает, – что было нажито, мирской слезой облито, а мирская слеза у бога велика. Под судом бывши истерялся: суд ведь докуку да деньги любит; да и жил-то широконько – привык, знаете, к хорошей-то жизни, сразу отвыкнуть не мог. В картишки любил поиграть, ну и выпала мне такая линия, что дело хоть брось – ни иголки с елки, ни иконы – помолиться, ни ножа, чем зарезаться. Работать сил нет: и годы стары и руки мягки, а мягки-то руки чужой хлеб в рот кладут, а печь своего не умеют. Так горько пришлось, так прискорбно, что руки на себя хотел наложить.

И вот злость-то какая во мне была: пришел к проруби топиться; о душе, об ответе на Страшном суде на ум не приходит, а про чуваш вспомнил, как они недругу «суху беду делают». На кого зол, пойдет к тому да у него на дворе и удавится, суд бы на него навести… И стал я думать, какая же мне польза, ежели утоплюсь – унесет меня под вешним льдом и не знай куда, где-нибудь сыщут, в губернских ведомостях напечатают, найдено-де неизвестное мертвое тело, и станут вызывать наследников или владельцев с ясными на принадлежность онаго доказательствами. Нет, думаю себе, коли класть на себя руки, так уж с тем, чтоб лиходею суху беду сделать: пусть же знает, что безрога корова и шишкой бодает. А лиходеем почитал губернатора, что велел меня под суд отдать. И такое веселье враг вложил в меня, что с проруби-то я ровно с праздника воротился.

Сведал, что у лиходея дельце есть тяжебное. В Малороссию верст тысячу пешком отшагал и усталости не знал – вот какова злость-то была. У него, видите ли, дядя бездетный был, имения тысячи две душ благоприобретенного. Покойник жене завещал его, а мой лиходей стал духовную оспаривать. Вот, думаю, привел же господь поплатиться да еще и за правду постоять. Взял у тетки доверенность, ездил, хлопотал, писал и «записался»… У племянника-то, у

губернатора, то есть, сильна протекция была: тетку по миру пустил, а мне хождение по делам воспретили…

Указ застал меня в Малороссии. Денег ни копейки, деваться некуда. Опять хотел руки на себя наложить, опять к реке пошел; но тут господь мне помощь явил… Встретился я со старцем, сказывал, что идет он из Киева в Саровскую пустынь. Кто такой, не знаю, но человек божий и дар прозорливости имел. Стал разговаривать и всю-то мою жизнь ровно по книге вычитал. И сам не знаю, что со мной сделалось; заплакал я – благодать-то божия коснулась окаменелого сердца. «Научи, говорю, старче, как горю помочь». – «Ступай, говорит, в Киев, помолись Иоанну Многострадальному, и твоим страданьям будет конец».

Слова старца умилили мое сердце; в тот же день побрел я в Клев. Много раз хотел с дороги воротиться, враг-от действовал. У самых даже ворот монастырских смутил он меня, такую тоску нагнал, что хотел было я, не заходя в святую лавру, на Днепр да в воду. Но за молитвы праведного старца, давшего мне благой совет, избавил господь от врага… И сам не помню, как очутился у мощей Иоанна Многострадального… И тут во мне ровно что просияло, и заплакал я сладкими слезами… Мерзка и нечестива показалась мне прошлая жизнь! Вот теперь, девятый год по обету, данному в киевских пещерах, странствую по святым обителям.

Между тем подъехали мы к Ключищам. Старик спешил туда к храмовому празднику. В церкви того села стоит чудотворная икона, и к ней на поклоненье из окрестных мест сходится много богомольцев. После обедни залучил я к себе Пояркова. Слово за слово, зашла речь про быт уездных чиновников. Вот что он рассказал:

– Кто кого сильней да важней в уездном городе, – вы не так говорить изволите. Ежели хотите знать, кто кого в уезде больше – в табель о рангах не смотрите; там своя табель. Первое место в городе – управляющий откупом: будь он чиновником, будь борода – все одно. Ему и честь и уваженье, его и в кумовья зовут и на свадьбы в отцы посаженые. Каждый божий праздник все от обедни к нему на закуски, каждое первое число всем чиновникам он шлет и вина, и пива, и меду, и наличными много ль кому следует, по «расписанью». Вот это самое расписанье и есть табель о рангах: кому откупщик больше платит, тот чиновник важнее, силы в нем больше. Важнее всех, конечно, исправник, а ежели город большой, богатый, купцов живущих в нем много, аль ярмонки при нем знатные есть, – то городничий. Если же город не важный, то городничий последняя спица в колеснице, и знать его никто не хочет, и не слыхать совсем про него; только что в мундирный день в соборе на первом месте станет – в том и весь его авантаж. После исправника – становой, потом секретарь земского суда да секретарь уездного. Эти люди первые, за ними пойдет мелкая сошка: судья, непременный член, казначей, стряпчий, винный пристав. А всех ниже штатный смотритель да учителя: ими никто не занимается, и никакого к ним уважения нет, откуп им копейки не дает, к самой даже Пасхе полштофа полугару не пришлет. И в гости их не зовут: разве когда из милости аль для счету. Не во всяком городу окружные есть да лесничие; а это люди первой статьи: окружной с исправником может вровень стать, помощник его да лесничий выше станового, чуть-чуть не исправниками смотрят.

А ежели насчет грехов, так их во всяком городу и во всяких чинах довольно… Про других не стану говорить, зачем осуждать?.. А про свои грехи для чего не рассказать?.. Всенародное покаяние очищает ведь их…

Вырос я в канцелярии; за приказным столом и состарился. А знал людей по одной только бумаге. Написано в деле: «В деревне Колосковой крестьянин Василий Сидоров», ну и знаешь, что есть на свете Василий Сидоров. Явится он к тебе по делу, только и думы, как бы побольше сорвать с него. Не думаешь, будет ли Сидоров с семьей завтра ужинать, об одном помышляешь: губа-де у меня, у барина, к сладкому наважена, а мужицкое горло, что суконное бердо, проглотит и долото. Пишешь, бывало, бумагу: «С крестьянина Миронова деньги взысканы», и знаешь, что у Миронова были деньги. Пишешь: «Кондратьев розгами наказан», и знаешь, что есть у Кондратьева спина. А не сидят ли у Миронова ребятишки без молока, зажила ль

спина у Кондратьева, про то и не думаешь. Со всякого берешь, а себя праведником ставишь. Что ж? бывало, думаешь: по праздникам церковь божию не обегаю, попов с праздным принимаю, говею каждый год, в большие посты не скоромлюсь, нищим по силе помощи подаю, в тюремном комитете состою членом, ежегодные пожертвования на детские приюты, по письмам губернаторши, плачу исправно. Чего еще?..

Святым себя считал, а врага слушал. Шепчет, бывало, в душу-то: «Карпушку-то Власьева прижми, денег у него, у шельмы, много, пущай не забывает, что ты его начальство». И прижмешь Карпушку бумаги листом, а бумаги листок на руке легок, а выйдет из-под руки, так иной раз тяжелей каменной горы станет.

Раз были нужны деньги до зарезу: наличные в горку спустил, праздники подходят, покойница-жена шляпки требует, салоп с куньим воротником ей подай, в губернское правление дань посылать срок две недели уж минул. Хоть в доме от мирского приносу всякого припаса и вдоволь, да надо хорошенького винца купить, не равно губернский чиновник наедет, не подашь ему мадеры деверье – шампанского подавай, да настоящего, по три целковых бутылка. Просто беда: как бредень ни закидывай, рыбешка не ловится. Что делать, как быть? А главное дело – губернское! Вовремя не представишь – шесть выговоров на неделе закатят, и пошел под суд, купайся там.

Почту получаю. Посмотрим, думаю, – нет ли благостыни. Подтверждений штук сорок, помечаю – «к делу». Пачка публикаций о сыске лиц и имуществ: ну, это известно дело – под стол, письмоводитель подберет, напишет: «на жительстве не оказалось», и конец. От губернатора предписания, да все пустяковые: статистику требует, да двух старых девок в консисторию на увещанье переслать… Объявления об умерших солдатах, о взысканиях, о скотском падеже, много всякой дряни, а путного нет ничего. – Эх, несчастная ты доля моя!.. Еще распечатываю: губернаторша еще раз пожертвовать в пользу детского приюта приглашает. «Нет, думаю, шалишь, ваше превосходительство, – не до твоих поросят свинье, коль ее самое палят на огне». С горя да с печали за печатны циркуляры принялся. Видно, тяжело было, что за них принялся… Их, бывало, никогда не читаешь, только сбоку пометишь: «к сведению и руководству».

Десятка полтора прочел – ничегохонько… Вдруг, гляжу – милость-то господня! У циркуляра сбоку припечатано: «об отдаче малолетних крестьянских детей в Горыгорецкую школу Могилевской губернии». – Э!.. Не пггука – деньги, штука – выдумка!.. Вот она, благодать-то, где! С места даже вскочил, запел от радости: *Заутра услыши глас мой!*

«Лошадей! В Ермолино!..» – Приехали. – «К волостному голове!..» – Достучались. Вошли. Хозяйка в задней избе самовар ставит, а хозяин, стоя у притолоки, в кулак зевает: на рассвете дело-то было.

– Что, говорю, Корней Сергеич, здоровенько ли поживаешь?

– Слава богу, говорит, ваше благородие, бог грехам терпит.

– Ну, слава богу, – дороже всего, говорю… Домашние что? Хозяюшка здравствует ли?

– Что ей делается?.. Вон с самоваром возится… Ишь надымила как в сенях-то!.. Грунька! Чего в угли-то налила?.. Эка дурь-баба!.. Дым сюда пройдет – у барина головка разболится.

– Ничего, говорю, Корней Сергеич… Ну, дочки что?.. Землемер-от, чать, недаром месяц у тебя выжил.

– Эх, ваше благородие, чего тут ворошить? Мало ль чего толкуют?.. Чужи речи не переслушаешь.

– Ну, да про это что? Девки молодые! По-вашему, может, так и надо. Парнишка-то что?

– Ничего, ваше благородие, растет. Часослов скончал, на второй кафизме сидит.

– Дело хорошее… А ведь я, Корней Сергеич, к тебе с повесткой… Читай-ка: человек ты грамотный. – И подаю ему циркуляр. А народ-от по захолустьям глуп: видит, печатна бумага, да сбоку «министерство» стоит – глаза-то у него и разбежались. Учен еще мало, знаете.

Прочел бумагу Корней, повертел в руках, на стол кладет.

– Мы, говорит, ваше благородие, люди слепые, – извольте приказать, какое тому дело есть.

– Что ты за слепой человек, Корней Сергеич!.. Зачем на себя клепать? Читай-ка вот, сбоку-то: «об отдаче малолетних крестьянских детей в Горыгорецкую школу, Могилевской губернии». Видишь?

– Вижу, ваше благородие.

– А слыхал ли ты про такую губернию? Про Могилевскую-то?

– Никак нет, ваше благородие, не слыхивал, что есть такая Могилевская губерния. Впервой слышу!

– Эта губерния за Сибирью, на самом краю света, – говорю ему. – И вся-то она, братец ты мой, состоит в могилах. А на тех на могилах гора, и на той горе школу, вот видишь, завели… Крестьянских ребятишек там ко всякому горю приобучают: оттого и прозвана «на горе горецкая школа». Понял?

– Невдомек, ваше благородие: ваши речи умные, да наши головы глупые.

– Да полно малину-то в рукавицы совать! Что в самом деле на себя клеплешь! У него и Власка кафизмы читает, а сам будто и печатного разобрать не может. Бери бумагу-то читай; не морочу ведь тебя… Печатное. Не сам же я печатал… Видишь? «Об отдаче малолетних крестьянских детей»… А ты читай сам!

Корней ни жив ни мертв: только пальцами семенит. Смекнул, куда дело-то клоню. А все-таки спрашивает:

– Какое ж тут до меня касательство, ваше благородие?

– Как какое касательство? Власке-то который год?

– Двенадцатый на Масленице пошел.

– Таких и требуется. Читай-ка вот.

– Нельзя ли помиловать, ваше благородие?

– Да как же я тебя помилую? По ревизским сказкам известно ведь, у какого крестьянина каких лет сыновья. Что ж мне из-за твоего Власки на свою голову беду брать… А?..

Замолчал Корней. Повесил голову, лицо пятнами пошло. А я себе прималкиваю, из сундучка бумаги вынимаю да раскладываю их по столу.

– Нельзя ли как помиловать, ваше благородие? – заголосил Корней.

– Как мне тебя миловать-то, Корней Сергеич? Своего, что ли, сына заместо Власки по этапу высылать? Так у меня и сына-то нет.

– Все в ваших руках, ваше благородие… Как бог, так и вы!.. Помилуйте, заставьте за себя вечно бога молить.

Корнеева жена в избу вошла, знает уж, о чем дело идет. Повалилась на пол, ухватилась мне за ноги, воет в неточный голос на всю деревню. Услыхавши материн вой, девки прибежали, тоже завыли, тоже в ноги. А Власка, войдя в избу, стал у притолоки, сам ни с места. Побелел, ровно полотно, стоит, ровно к смерти приговорен.

– Душно что-то здесь, – молвил я Корнею, – на крыльцо выйду. Хочешь, вместе пойдем.

Вышли на крыльцо. Хозяйка почти без дыхания. Девки – было за нами, да Корней цыкнул на них.

Сел на крыльце, трубочку закурил, покуриваю себе… Говорю Корнею таково приятно да ласково:

– Избы не хочу сквернить этим куревом… Знаю, что старинки держишься, скитам веруешь… Так я на крылечке, чтоб у тебя богов не закоптить… Садись-ка рядком, Корней Сергеич, потолкуем…

Потолковали. На пяти золотых покончили. Написал я Власку немым и увечным, в Горыгорецкую, значит, негодным.

С легкой Корнеевой руки у меня дело как по маслу пошло. Сколько ни было в стану богатых мужиков, – всех объехал, никого не забыл. Сулил могилы да на горах горе, получил за каждого парнишку по золотенькому, в глухие, в немые писал их… Мужики рады-радешеньки, отбывши такое великое горе. Всем праздник, а мне вдвое: у жены салоп и шляпка с белым пером, точь-в-точь как у вице-губернаторши; у полюбовниц, что в стану держал: у одной шелково платье, у другой золотная душегрейка; шампанского вдоволь, хоть на месяц приезжай губернские… А главное, в губернском правлении остались довольны: крепко, значит, на месте сижу.

Да-с, бывал я котком, лавливал мыштек.

Вся штука в том, что надо остроту иметь, чтоб показать мужику дело не с той стороны, как оно есть. Это у нас называлось «перелицевать». Кто мастер на это, будет сыт, и детки без хлеба не останутся. Закон, как толково ни будь написан, все в наших руках: из каждой бумаги хочешь – свечку Николе сучи, хочешь – посконну веревку вей… А мужик что понимает? Он человек простой: только охает да в затылке чешет. До бога, говорит, высоко, до царя далеко. Похнычет-похнычет – и перестанет.

А нет ничего прибыльней, как раскольники. Народ уж такой: обижаются даже на того, кто не берет. Кто взял, на того надеются, что не выдаст и все по-ихнему сделает; а кто не взял, того боятся, притеснителем обзывают, и пронесут имя его, яко зло – до самых высоких степеней… Такая уж вера у них: им шагу ступить нельзя, чтобы чего-нибудь супротивного закону не сделать. Паспортов, по-ихнему, не надо, для того, что антихристову печать означают. Оттого беспаспортным у них пристанище, к тому ж без беглых им во всем невозможно: попы ли, большаки ли ихние, народ все «скрывающийся», попросту сказать – беглый. А это нашему брату и на руку. У меня в стану скиты были – дно золотое.

В каждом по десяти, по двенадцати обителей, в каждой обители настоятельница, стариц и белиц штук пятьдесят и побольше. Это «лицевых», значит, таких, что с паспортами живут. Кроме того, «скрывающихся» много. Каждая настоятельница за «лицевую» в год золотых по два платит, а за «скрывающуюся» меньше тридцати взять нельзя. А у богатых раскольников еще такое заведение есть, что ежели купеческой дочке пошалить случится и она тяжела станет, ее посылают в скиты, будто бы к тетушке там какой-нибудь погостить, в своем-то бы городу огласки не было, женихи бы после не обегали. Тут, бывало, пожива хорошая: девка-то придет с деньгами, с нее за то, чтоб девичьей тайны не огласить, а ребеночка принесет – следствия б не производить!..

Большой праздник подходит: изо всех обителей к тебе с подносами: к Пасхе – на куличи, к Петрову дню – на барана, к Успенью – на мед, к Покрову – на брагу, к Рождеству – на свинину, к Масленице – на рыбу, к Великому посту – на редьку да на капусту.

А то еще за сборами по городам матери ездят. Приедут перед зимним Николой, воротятся к благовещеньеву дню… Едучи в путь, приходят паспорты явить… Со сбору воротятся, опять являются – и чего тут, бывало, не натащат. Котора в Саратов ездила – рыбы да икры, котора в Казань – сафьяну на сапоги, котора из Екатеринбурга приехала – нельмы-рыбы да печаток из камней самоцветных, с Дону – балыков, из Москвы – сукна, материй разных, всякого, значит, фабричного дела. Самому ни съесть, ни износить, лишки нужным людям в губернию шлешь… Они довольны, и оттого насчет неприятностей опасения не предвидится.

В скит приедешь – угощение тут тебе богатой рукой. Спервоначалу все чинно: сядешь за стол с чиновниками, что прихватишь с собой разгуляться, матери во всем чину у дверей стоят в венцах, во иночестве, – шапочка такая плисовая у них есть, иночеством зовется! – на плечах у всех манатейки – пелеринки, этакие черные с красной выпушкой. У каждой в руке лестовка: стоят смиренно, глядят умильно, речь ведет одна игуменья, да разве еще келарь, стряпка значит, примолвит: «милости просим», когда на стол нову перемену ставит. Рядовые старицы только вздыхают да молитвы про себя шепчут. Белиц тут не бывает, – те по светлицам

сидят. И велишь, бывало, матерям пить, ихним же добром их угощаешь. Хоть все они, кроме престарелых, до винца и охочи, – а спервоначалу тоже блюдут себя, церемонятся. Выругаешь хорошенько, примутся за чарочки… Перепьются, потому что не смеют ослушаться…

Тогда к белицам в гости. А белицы бывали хорошие, молодые, красивые, полные такие да здоровенные – кровь с молоком. Ходят чистенько: юбки, рубашки миткалевые, кофточки полотняные… При сторонних в черных сарафанах с цветными широкими ситцевыми передниками. Пойдешь по светлицам: там они сидят, бисерны кошельки вынизывают, шелковы пояски ткут, по канве шерстями да синелью вышивают… Такая тут возня пойдет, что без греха никогда, бывало, кончиться не может… Насчет этого слабеньки…

А ведь их винить нельзя. У крестьянской девки хоть много работы, да в году три радости есть: на Масленице покататься, на Святой покачаться, на Троицу венки завивать. А келейны белицы тяжелого дела не знают, снуют целый день из часовни в светлицу, из светлицы в часовню, каноны читают да кошельки вяжут – вот и работа вся. А едят сладко, спят мягко, живут пространно, всякому пальчику по чуланчику – дурь-то в голову и лезет. По-ихнему же это и не грех, а только падение: без греха, слышь, нет покаяния, а без покаянья и спасения нет. Потому девице и дозволено согрешить, было бы в чем каяться и тем спасенье получить. Такая уж вера.

А когда благодетели, значит богатые купцы, приедут в скит, тут не то… Не тем обитель смотрит, точно в самом деле истинное благочестие в ней обитает. Поведут матери благодетеля в часовню, там старицы стоят чинно, рядами, в полном чину, на венце у каждой креповая «наметка», все лицо она покрывает. Везде лампадки, везде свечи горят. В середине стоит «уставщица», смиренно в землю глаза опустив, внятно читает старинные книги. Чистыми, звонкими голосами стройно белицы поют по крюкам, демественным разводом. Кланяются разом, перед земными поклонами бросают на пол подручники разом, подымают их разом, лестовки перебирают разом. Слова стороннего не молвят, в сторону не взглянут – да этак часов пять либо шесть сряду. Благодетель-от упарится, умается и сам себе думает: «Вот оно где благочестие-то, вот она где старая-то вера!..».

И пригоршнями благостыни отвалит… А домой приедет, братье своей зачнет говорить: «Видел я, братия, скиты… Уж такое там благолепие, уж такое там благочестие: истинно земные ангелы, небесные же человеки». А небесные человеки – только что благодетель вон из скита, на радостях от хорошей выручки, – старицы за рюмочку, а белицы за мила дружка за сердечного.

Благодетели на каноны и на негасимую денег скитницам пересылают много. Ежели где-нибудь, хоть в дальнем каком городе, богатый раскольник умрет, родственники посылают милостыни «на корм братии». Те деньги идут настоятельницам, у них в каждой обители общежительство: пьют, едят на общий счет. Кроме того, на «негасимую свечу» присылают, значит, чтоб читать Псалтирь по покойнике денно-нощно шесть недель, либо полгода, либо год, глядя по деньгам, и каждый день петь «канон за единоумершего». Иной раз придется рублев по пяти на скитницу, богачи-то присылают на все скиты тысяч по десяти, на ассигнации… Дележ бывает в скрытности, опричь игумений да каких-нибудь знатнеющих, никого тут не бывает… А сборы им законом воспрещены; потому они завсегда у нас в руках.

Случится узнать, – привезли панафидные деньги и будут делить в такой-то обители. Поедешь, бывало; но как ни придешь – ничего не застанешь, а по всему видно, что вот сейчас из кельи вон разбежались… Когда и вовремя попадешь, да у них в скитах дома нарочно такие построены: ходы в них да переходы, темные коридоры, чуланы да тайники, скрытные проходы меж двойными стенами, под двойными полами, и подземные ходы из одной обители в другую есть. Им без того нельзя, – такая уж у них вера, что вся на беглых стоит. Прячут их в тайниках-то в случае надобности.

Раз мне удалось на дележ попасть. Узнал, что из Сибири большую сумму привезли и будут делить у матери Иринархии в обители. На ту пору был я у матери Иринархии по какому-

то делу, а у нее купеческая дочка из Москвы жила и со мной, грешным делом, по тайности в любви находилась. А скитские девки, я вам доложу, беда какие неотвязчивые; ежели с которой сошелся, требуют, чтобы в гости жаловал, а ежели долго в ските не бывал, плачет, укоряет – забыл-де меня…

– Знаешь ли что, – говорю возлюбленной своей, – ведь у вас завтра собрание будет, а мне больно хочется посмотреть на него. Я бы сегодня так сделал, будто уеду из скита, а сам у тебя в светлице останусь, ты мне ихнее-то собрание из тайничка и покажешь.

Обрадовалась моя Варвара Абрамовна, что целые сутки у ней в светлице пробуду… Велел я письмоводителю мою шубу надеть, да чтоб по голосу его не признали, приказал ему пьяным быть, и вышло так, будто я напился до бесчувствия, и меня, положивши в сани, из скита вон увезли. Целые сутки пробыл я у Варвары Абрамовны, а под вечер через тайничок вниз спустился и стал возле Иринархиной кельи. Дырочка там проверчена: все видно.

Собрались матери, приказчика привели, что деньги привез, помолились, письма прочитали, канон за умершего пропели, кутьи поели и уселись – деньги делить. Самая полночь была. Только что деньги на стол они разложили, я из тайника да середь честной компании и стал.

– Здорово ль, говорю, поживаете, преподобные матери?.. Что ж меня-то в долю не принимаете?

Заметались. А при мне охотничий рог был. Затрубил… Сотские да рассыльные – а им наперед велено было тайным образом к ночи вкруг обители собраться – голос стали подавать.

– Слышите, говорю, матери? Мои-то молодцы русака в скиту учуяли! Да не ты ли русак-от, почтенный? – говорю приказчику. – Кажи паспорт!

– Паспорта нет; в городе на квартире, говорит, покинул.

– Это мне все равно. Ежели при тебе паспорта нет, милости просим в кутузку.

– Да я, говорит, купеческий сын.

– А хотя ты и купеческий сын, да есть пословица: от тюрьмы да от сумы никто не отрекайся. Сидят в тюрьме и дворяне, не то что ваша братья, купцы.

Так да этак, смиловался я, отпустил приказчика. Три тысячи на ассигнации мне досталось. Читали ль матери заказной Псалтирь, нет ли – того не знаю.

А уж как легковерны они, так просто на удивленье! Жила в Чернушинском ските средних лет девка, звали ее Пелагея Коровиха. Жила у матерей долго, скитские порядки знала да скружилась, – ее и прогнали. В город переехала. Сайки на базаре продавала, с печенкой у кабака сидела – перебивалась этакой торговлей. Познакомилась она с отставным солдатом Ершовым, что лет с десяток при земском суде в рассыльных был, по всему уезду знали его. Запивать стал – потерпели-потерпели, однако выгнали наконец. Приходит он к Коровихе, на судьбу плачется, «не знаю, говорит, что и будет со мной; удавиться думаю, хуже будет, как с голоду помру». Посоветовались – да и придумали штуку! Обрезала Коровиха косу, добыла где-то вицмундир, чиновником оделась, орден св. Станислава на шею надела. Достали лошадей; Коровиха в сани, Ершов на козлы да ночным временем в скит, только не в тот, где Коровиха жила, а в другой, где не знали ее. А по уезду еще не было известно, что сменен Ершов, и он по дороге сказывает, что послан исправником при чиновнике, что по раскольничьему делу из Петербурга приехал. Перед Коровихой все шапки ломают; видят, барин большой: крест на шее.

Приехали. Разбудил Ершов настоятельницу: «Вставай, говорит, скорей, мать Евфалия: беда твоя до тебя дошла. Чиновник из самого Питера приехал. Чуть ли часовню не станет печатать». Евфалия заохала, Ершов ей свое:

– Меня, говорит, исправник нарочно с ним послал, чтоб тебе, по силе возможности, какую ни на есть помощь подать.

– Кормилец ты мой!.. – завопила Евфалия. – Помоги ты мне старой старухе, а уж я тебя не оставлю… Заставь за себя бога молить! – А сама меж тем Ершову в руки зелененькую.

– А ты вот что, мать Евфалия, – говорит Ершов, – сделайся-ка с ним, как знаешь; поблагодари его честь. Исправник велел сказать, что он подходящий, благодарить его можно.

– Дай бог здоровья его высокородию Петру Федорычу, – говорит Евфалия, – что на разум наставляет меня старую да глупую.

А чиновник-Пелагея уж в келье… Очки на носу, бумаги разбирает. Вошла к нему мать Евфалия ни жива ни мертва.

– Как тебя звать? – крикнула ей Коровиха.

– Евфалия грешная, ваше превосходительство.

– По отце?

– То есть по-белически-то зовут меня Авдотья Маркова; а это значит по-иночески: Евфалия грешная.

– Да разве ты смеешь иноческим именем называться? – закричала Коровиха и ногами затопала.

Да приподнявши платок, что Евфалия на себя в роспуск накинула, увидала под ним и манатейку и венец… Пуще прежнего закричала:

– Это что такое? Это что надето на тебе?.. Не знаешь разве, что за это нашу сестру в острог сажают? В кандалы старую каргу, – крикнула Ершову Коровиха, – в острог ее, шельму, вези!

– Слушаю, ваше превосходительство! – говорит Ершов.

– Подай из саней кандалы! – крикнул он, выйдя в сени, извозчику.

Ровно гром грянул в обители: в ногах валяются, милости просят. Тут и промахнись Коровиха.

– Давай, говорит, десять целковых да штоф пеннику.

Тотчас принесли и деньги и пеннику… Только тут все и поусумнились: что ж это за важный чиновник, коль за дело, что тысячи стоит, только десять целковых потребовал… Опять же ни мадеры, ни рому, ни другого дворянского пойла ему не надобно, а вдруг подай пеннику! Неподалеку от скита исправник в то время на следствии был. Ему дали знать, тот нагрянул. Входит в келью, а Коровиха с Ершовым, штофик-от опорожнивши, по лавкам лежат. Так и взяли их в вицмундире и с крестом на шее. По суду три года в рабочем доме потом просидела.

Чего в тех скитах не творилось! Да вот хоть про друга моего, про Кузьку Макурина рассказать. Был он из удельных крестьян, парень еще молодой. Отец у него кузнечил, а когда помер, довольно деньжонок сыну оставил, и дом – полну чашу, и кузницу о двух наковальнях. Неразумному сыну родительское богатство впрок не пошло; не понравилось Кузьке ремесло отцовское: ковать жарко, продавать холодно. Черной работы не жаловал; захотелось ему белоручкой жить – значит, от кузницы подальше, меньше бы копоти было. Годика в два родительское добро все до нитки спустил. К винцу да к сладкой еде привык, а в мошне-то пусто. И почал деньги ломом да отмычками добывать. Раз пять попадался, да каждый раз по суду в подозрении только оставляли. Поймали наконец на деле, в солдаты приговорили, потому что недели до совершенных лет у него не хватало.

На другой же день, как сдали его, он бежал. По деревням проживать опасно было, – он в скиты. Пришел к матери Маргарите: «Бегаю, говорит, от антихриста, и ты, матушка, меня в стенах своих сокрой».

Маргарита разжалобилась, взяла Кузьку на конный двор в работники. Тут он зажил припеваючи: сыт, пьян, одет, обут… А главное, живучи под крьтльштком Маргариты, никого не бойся, даром что беглый… Мы с ней жили в добром согласии. Иногда разве что скажешь ей: «Кузька-то у тебя больно пространно живет, спрячь его до греха». Ну и припрячет.

Кузька со мной подружился через то, что Маргаритину племянницу Евпраксию Михайловну мне предоставил. Изо Ржева была, купеческая дочка – с офицером провинилась, ее и

послали к тетке стыд прикрывать. Скитское житье ей по нраву пришлось – осталась в кельях… Ну, Кузька, спасибо ему, помогал, очень даже помогал. Оттого и завелась у меня дружба с ним.

Неспокойный был человек. Чем бы, кажется, не житье ему было у матерей? Так нет, пакостить начал и скитниц мне выдавать. Шепнет, бывало: «Приходите, ваше благородие, тихими стопами ночью под Успеньев день к матери Феозве в моленную; беглый поп приехал, в полотняной церкви станет служить».

Нагрянешь, во всем чину службу застанешь. «Это что? Ты кто такой? Вяжи!» Матери забегают, ровно мыши в подполье: котора антиминс за пазуху, котора сосуды в карман, с попа ризы дерет. А поп ровно хмельной, сам шатается, а норовит в угол, чтоб оттуда в тайник да скрытыми переходами в другу обитель, а оттоле в лес. Знал я эти штуки-то: «Нет, говорю, отче святый, от меня не улизнешь, знаю я ваши мышиные норки, а протяни-ка ты лучше стопы свои праведные, вон сотский-от хочет кандалы на тебя набивать».

Старицы в ноги.

– Батюшка, ваше благородие, положи гнев на милость!

– Дам я вам милость, говорю: вяжи всех да подводы под них снаряжай… Всех в острог.

А они:

– Помилосердуй, милость на суде хвалится.

– Дам я вам милость!.. Вяжи всех да гаси свечи: часовню-то запечатаю.

А сам из кармана шнурок, печать да сургуч. Всегда при себе держал: страх внушают.

– Да заставьте же, ваше благородие, за себя бога молить, – вопят старицы, – помилосердуйте!..

– Да что вы, говорю, пристали ко мне?.. Ничего не могу сделать, губернатор предписал. Сами знаете: твори волю пославшего.

– Да все в твоих руках, батюшка, ваше благородие!.. Как бог, так и ты!..

Дали. Попа в кибитку, а мы к Феозве чай пить да с белицами балясы точить.

Проведает Кузька: под моленну новы столбы подвели; скажет. Приедешь в скит, найдешь починку, запечатаешь моленную. Пообедаешь, разгуляешься, возьмешь, распечатаешь.

А на Кузьку ни одна из матерей подозрения не имела. Думают: «Свой человек, состоит по древнему благочестию, как же ему Иудой-предателем быть». А в своей обители у Маргариты пакостей он не творил.

Несдобровал, однако, у скитниц мой Кузька: очень уж безобразную жизнь повел, стали матери им тяготиться, а прогнать боялись, потому что, ежели прогнать, скит сожжет. Напился он раз с попом Патрикием донельзя и зачал спорить с ним о божественном. Спорили они, спорили – Кузька в ухо попа: «я, дескать, тебя, ревнуя по истинной вере, аки Никола святитель Ария – заушаю!..» А поп-от через день возьми да богу душу и отдай… Следствия не было: беглый беглого убил, оба люди не лицевые. Так оно и заглохло.

После того его и прогнали. По деревням шататься стал где день, где ночь. Тяжело пришлось житье: в водке вкус позабыл. Конокрадством вздумал промышлять, да на первой клячонке попутал грех: поймали Кузьку, – ко мне.

– Что, говорю, попался?

– Попался, говорит, ваше благородие, такая уж судьба моя проклятая!.. А у меня до вас есть секрет.

– Какой?

– Важный секрет, ваше благородие. Могу сказать только один на один… Потому секрет по первым двум пунктам, государственный секрет, ваше благородие…

Пошли в боковушку. Сказал.

Вышли мы с ним в канцелярию, стал я с Кузьки показание снимать.

– Зовут меня Иваном; как по отце и чей родом, не помню, скольких лет, не знаю; грамоте российской читать и писать умею, в штрафах и под судом не находился, по девятой ревизии

покуда никуда не приписан, движимого и недвижимого имения за мной нет, никакого определенного промысла или занятия не имею, а прибыв в прошедшем году в здешний Пискомский уезд, занимался деланием фальшивой монеты. На таковое ремесло был склонен торгующим по свидетельству третьего рода крестьянином Марком Емельяновым, каковый Марк Емельянов и научил меня, с помощью собственных его инструментов, как российскую, так и иностранную монету чеканить. А ту фальшивую монету, из опасения подозрения и законного по суду воздаяния в случае открытия, производили мы в разных местах… – После того и пошел перечислять мужиков, что самые богатые были. Во свидетельство представлял два фальшивые талера и старинный целковый, тоже фальшивый. – И сильно скорбя о содеянном преступлении и жестоко мучась угрызением совести, решился я в присутствии вашего благородия чистосердечно объяснить о содеянном мною преступлении, что вы уже и слышали от меня. Имею неотъемлемое право на справедливо заслуженное мною наказание и, предаваясь в волю закона, прошу со мною учинить, что правосудие повелевает.

Сделав такое показание, Кузька бойко подписался по всем статьям: «К сему показанию Иван, не помнящий родства, руку приложил».

Велел я заковать Ивана Непомнящего и поехал с ним да с понятыми к Марку Емельянову. Обыск произвели – ничего не отыскали. Марк, известно дело: «Знать не знаю, ведать не ведаю, впервой того человека и вижу». Поставил их на очную ставку.

Кузька говорит:

– Побойся бога, Марк Емельяныч, как же ты меня не знаешь? Да не я ль у тебя две недели выжил? Да не ты ль меня учил монету делать? Да не ты ль хвалился, что сделаешь монету лучше государевой?

Марк и руками и ногами, а Кузька ему:

– Нет, постой, Марк Емельяныч, у меня ведь улика есть.

– Какая улика? – спрашивает Марк Емельянов.

– А вот какая: прикажите, ваше благородие, понятым в избу войти.

Я велел, Кузька и говорит им:

– Вот смотрите, православные, под этой под самой лавкой я гвоздем нацарапал такие слова, что с 1 по 22 октября с Марком Емельяновым вот в этой самой избе я триста талеров начеканил.

Посмотрели под лавку, – в самом деле те слова нацарапаны.

Вязать было Марка – в острог сряжать, да сладились. От него к другим богатым мужикам поехали… И всех объехали. А как объехали всех, велел я Кузьке бежать, кандалы подпиливши, сам и пилочку дал ему. Дело заглохло.

А Кузька, извольте видеть, когда по деревням шатался, надписи такие у богатых мужиков царапал. Попросится ночевать Христа ради, ляжет на полу, да ночью, как все заснут, и ну под лавкой истории прописывать.

После того Кузька попом сказался и до сих, слышь, поп попит. Есть на рубеже двух губерний, Хохломской да Троеславской, деревня Худякова; половина – в одной губернии, другая – в другой. В той деревне мужичок проживал, Левкой звали – шельма, я вам доложу, первого сорта, а промышлял он попами. Содержать беглых попов на губернском рубеже было ловко: из Троеславской губернии нагрянут – в Хохломскую попа, из Хохломской – в Троеславскую его. Левку все раскольники знали, от него попами заимствовались. С этим самым Левкой и сведи дружбу Кузьма Макурин – днюет и ночует у него, такие стали друзья, что водой не разольешь. Рыбак рыбака далеко в плесе видит, а вор к вору и нехотя льнет.

Лежит раз Кузька у Левки в задней избе на полатях, а поп, под вечер взъехавши к Левке да отдохнувши после дороги, сидит за столом. Избу запер, зачал деньги считать, что за требы набрал по окольности. Смотрит Кузька с полатей, а сам тоже считает: считал-считал и счет

потерял. Слез тихонько с печи, отомкнул дверь, вышел – поп не видит, не слышит… Кузьма в переднюю…

Будит Левку: «Вставай, говорит, дело есть». – Левка встал, Кузька ему говорит: «Поп деньги считает, я подсмотрел. Такая, братец, сумма, что за нее не грех и в тюрьме посидеть. С такими деньгами, Левушка, век свой можно счастливу быть, на Низ можно сплавиться, в купцы там приписаться».

Соблазнил.

– А видывал ли когда тебя отец-то Пахомий? – спрашивает Левка.

– Отродясь, – говорит Кузька, – не видывал.

– Делай же вот как да вот как.

Пошли приятели в заднюю, где поп-от свои дела правил… А хоть дверь и отперта была, все-таки, чтоб Пахомию не подать сомнения, Левка постучался, входную молитву творя.

– Аминь! – ответил поп из избы. – Кто там?

– Я, батюшка, отец Пахомий, хозяин.

– Сейчас, свет, отопру… Эко диво како! Дверь-то была отомкнута!.. Забыл, видно, запереть, вот ведь память-то какая у меня стала.

Вошли Левка с Кузькой. А деньги у попа уж припрятаны. Начал положили у Пахомия, простились и благословились.

– Вот, батюшка, отче Пахомие, – говорит Левка, – наш христианин, именем Косьма, исправиться желание имеет, давно мне кучился свести его к иерею древлего благочестия.

Кузька в ноги попу: «Прими, говорит, отче святый, на дух».

– Бог благословит, чадо, – ответил Пахомий, – время теперь тихое, исправлю, пожалуй.

Левка вышел, Пахомий епитрахиль надел, требник на налой положил. – «Клади начал!» – говорит.

Положили начал. Лег Кузька ничком, Пахомий ему голову епитрахилью покрыл и начал «исправу»:

– Рцы ми, чадо Косьмо…

А Кузька поднял голову, говорит ему:

– Отче святой, совесть-то моя очень сумленна, – рцы ми прежде: по отлучении от великороссийские церкви принял ли ты «исправу второго чина» с проклятием ересей?

– Нет, чадо, – говорит Пахомий, – исправе второго чина и проклятию ересей аз грешный по правилам не подлежу, того ради, что и крещение имею старое и рукоположение старое.

– А где ж ты старое-то рукоположенье сыскал? – спросил Кузька, став на ноги перед Пахомием. – Кто тебя в попы-то ставил?

– Да не смущается сердце твое, чадо Косьмо, ведай, яко имамы ныне архиереев древляго благочестия. Начало же сему произволению бысть сицевое.

– Ну, послушаем, пожалуй, какое тут у вас было произволение, – молвил Кузька, садясь на лавку.

– Садись и ты, отец Пахомий, рассказывай, какое было произволение.

– Есть, мой свет, киновия Белокриницкая. И сперва обитаема была едиными токмо мнихами, священных же особ в себе не имела, ныне же божиею к нам милостию получила архипастыря. Вси несумнящеся о сем христиане, елико обретается их в поднебесной, в том уверены. Та киновия, влекуще семя свое от древних оных кубанцев, рекше некрасовцев, зашедших туда с большим количеством народа, с женами и детьми. И тако сии вышереченные кубанцы, рекше некрасовцы, поселишася в Туречине, по реке Дунаю, и во упражнении своем занятием рыболовства…

– Да ты балясы-то не точи, говори настоящее дело. Какое произволение-то было?.. Кто тебя в попы-то поставил?

– Внимай, чадо Косьмо, дивному промышлению и не борзися… Сим бо случаем дивная вещь содеяся и памяти достойна.

– А ты лишняго-то не мели, сказывай, кто таков?

– Аз многогрешный прежде был господским крестьянином и немалое время находился приставником при псовой охоте. Обаче распалихся желанием иерейства, оставя господина, приидох к епископу нашему Софронию и молих его, да поставит мя во иерея. Он же по многом испытании рукоположи мя у единаго мужа благочестива, на пчельнике, и даде ми одикон, рекше путевой престол, и церковь полотняную.

– Так ты, попросту сказать, беглый псарь?

– Не глумися, чадо Косьмо, рцы же ми своя согрешения…

– А ведь ты мошенник, отец Пахомий! Из псарей в попы на пчельнике поставлен!.. Ай да святитель!.. Знаю Софрона-то я. Ведь это Степка Жиров, что в Москве постоялый двор в Вороньем переулке держал, что попа Егора утопил?.. Знаю, все знаю, и другого вашего пастыря знаю, Антония, что прежде Шутовым прозывался. Так ты из этаких!.. А сколько ты, собашник, христианских-то душ погубил, их исправляючи? Да знаешь ли ты, что твое место в Сибири?

Хвать его за честную браду и «караул» закричал. Левка с веревкой вбежал, скрутили попа, вытащили его на улицу, сбежался народ: кто за попа, а кто кричит: «Вези его в город!..» Кутят ему Кузька в полы-то положил: «Вот, говорит, твои прихожане!» Поглумились этак над Пахомием и пустили его на четыре стороны, а деньги и весь скарб у Левки остались.

На другой день приходит уставщик от Пахомия. «Деньги-то, говорит, возьмите, подавитесь ими, окаянные, ящик-от только отдайте… Без него отцу Пахомию никак невозможно…»

– Эка что вздумал!.. – молвил Кузька Макурин. – Да я такого ящика пятый год добиваюсь. Пойду на Урень, – сторона глухая, народ слепой, – стану попить не хуже твоего псаря. Так ему и скажи.

Заплакал инда уставщик: за ящик-от Софронию никак тысяча была заплачена, а теперь все пропало ни за денежку.

Вскрыли ящик: там и одикон, и полотняная церковь, и прочее, что нужно, и ставлена грамота.

– Эка умница этот Жиров! – молвил Кузька. – Не пишет примет в ставленой-то… Хоть я Пахомию во внуки гожусь, а с этой ставленой могу и Пахомием быть. Прощай, Левушка, – деньги все себе бери, с меня и ящика довольно. Вот каким попом буду, сам ко мне на исправу придешь… Приходи, Левушка: все грехи отпущу и гроша не возьму.

Так и поделились. Левка с деньгами на Низ уехал, – и там расторговался. А Кузька за Пахомия и до сих пор попит…

Так вот с какими я людьми хороводился! Вот какие дела делывал! Да мало ль чего не бывало… Всего не перескажешь.

Ничего в свое время не огласилось, пред судом человеческим ничего не явилось. Но все было ясно пред неумытным судиею… И послал он мне наказание достойно и праведно.

Старые годы
Рассказ

Довелось мне раз побывать в большом селе Заборье. Стоит оно на Волге. Место тут привольное.

Это гнездо угасшего рода князей Заборовских. Теперь оно принадлежит разбогатевшему откупщику Кирдяпину, родитель же его некогда был подносчиком в Разгуляе. А Разгуляй – любимейший народом кабак в селе Заборье. Стоит он между пристанью и базаром: место веселое, бойкое.

Местность в Заборье живописна. Крутой, высокий берег Волги туг перемежается, образуя обширную, покатую к реке лощину, в ней построено Заборье. Там до десятка златоглавых церквей, сорок либо пятьдесят двухэтажных каменных домов, больше тысячи деревянных, городской постройки, обширный гостиный двор, несколько фабрик и заводов: всюду кипучая деятельность. По волжскому берегу тянется длинный ряд амбаров для складки хлеба и других товаров, у пристани стоит не одна сотня барок, расшив, ладей, паузков и других разной величины парусных судов. Поодаль, у особой пристани, устроенной в Кривоборском затоне, дымятся пароходы. В стороне мель, на ней обсохшая коноводка.

И справа и слева тесно застроенного и шумно оживленного Заборья великанами высятся крутые горы из красного мергеля. На одной красуются величественные храмы XVII века, украшенные снаружи стенописью, увенчанные золотыми шатрами и куполами. Вместе с громадными двухэтажными зданиями они обнесены зубчатыми белокаменными стенами, высокими башнями и бойницами. Ни казанские татары, ни лисовчики, ни сообщники Разина не могли взять тех твердынь, хоть не раз пытались овладеть Заборским монастырем, зная о сокровищах, в нем сохранявшихся. Теперь не то, теперь здесь тихое и безмятежное пристанище немногих иноков, просторно разместившихся по уголкам громадных келий, где в старые годы тесно было жить многочисленной братии и толпам слуг и служебников Заборской обители.

По другую сторону Заборья высятся на горе палаты князей Заборовских. Величественный дворец, строенный в прошлом столетии по плану Растрелли, окруженный полуразвалившимися флигелями и службами, господствуя над Волгой и Заборьем, угрюмо смотрит на новую, развившуюся под его ногами деятельность. Запустелый, обветшалый, точно переглядывается он с древними зданиями монастырскими… Ведут меж собой каменные старцы беззвучную беседу о суете мирской, что внизу гулом тысячи голосов и звуков дает знать о себе, о приволье места и о довольстве народа. Ведут угрюмые старцы беседу, а сами будто сокрушаются, что минули старые годы, когда наверху было людно и шумно, а внизу говорить громко не смели…

Исправник предложил мне показать заборский дворец, но нескоро добился ключей. Трое дворовых, приставленных для охраненья гнезда угасших князей Заборовских, рассчитав, что злонамеренные люди не украдут вверенного им здания, отправились на пристань шить кули, чтоб, заработав по пятиалтынному на брата, провести веселый вечерок в Разгуляе.

Покамест сотский их отыскивал, мы пошли в сад. Сад огромный, версты на полторы тянется он по венцу горы, а по утесам спускается до самой Волги. Прямые аллеи, обсаженные вековыми липами, не пропускающими света божьего, походили на какие-то подземные переходы. Местами, где стволы деревьев и молодых побегов срослись в сплошную почти массу, чуть не ощупью надо было пробираться по сырым грудам обвалившейся суши и листьев, которых лет восемьдесят не убирали в запущенном саду.

Кой-где уцелели каменные постаменты, на них в старые годы стояли статуи. Известный богач прошедшего века, князь Алексей Юрьич скупил много статуй за границей и поставил их в своем Заборье. Куда после девались они, бог знает. Вот на одном постаменте уцелели буквы: «Jov… omnipoten…»[12]. На другом ясна надпись: «Venus et Adonis»[13].

Повернув из главной аллеи в сторону, очутились мы перед глубоким оврагом, что, простираясь до самого волжского берега, разделяет сад на две части. Смелой аркой перекинут был через тот овраг каменный мост, на дне шумел родник, скрывавшийся в сочной густой зелени. За мостом каменный павильон – это Parc aux cerfs[14] Заборья старых годов… Давно свалились его двери, давно вышиблены из окон его рамы, ветер да зимние вьюги свободно гуляют по комнатам, где чего-то не бывало в старые годы!.. В одной комнате уцелели фрески, и какие фрески! Недюжинный маляр их работал. Вот Венера в объятиях Марса – хорошо сохранились свежие, роскошные перси и руки богини красоты, досадная улыбка безобразного Вулкана до сих пор мерещится мне, только что вспомню павильон заборский… На другой стене нагая Леда страстно прижимает лебедя, на третьей свеженькая нимфа лениво отталкивает обхватившего ее сатира, а на четвертой сладострастно раскинулась юная вакханка, и ее

Налитые негой груди,
Чуть прикрытые плющом,
И белее снега зубы
И пурпуровые губы —
Манят поцелуй…

Плафон осыпался, но по сохранившимся остаткам заметно, что он изображал торжество Приапа… Сколько белобрысых Акулек и чернявых Матрешек перебывало здесь в качестве живых нимф и вакханок.

– Вон там был другой такой же павильон! – оказал исправник, указывая на груду кирпичных осколков, выглядывавших из лопушника, полыни и чернобыли.

– Развалился?

– Нарочно сломали.

– Зачем?

– Да видите ли, что здесь болтают: князь Данила Борисович, годов тридцать тому назад, приезжал в Заборье и в том павильоне находку, слышь, какую-то нашел, да после того и приказал его сломать.

– Что ж он нашел?

– Да болтает народ… оно, может, и вздор, а все-таки намолвка идет, будто в том павильоне одна комната исстари была заложена, да так, что и признать ее было невозможно. А князь Данила Борисович тайно ото всех своими руками вскрыл ее.

– Ну?

– Ведь это одна намолвка, Андрей Петрович, а правда ли, нет ли, господь ведает. Клад, что ли, какой-то там нашли, только на стене, слышь, гвоздем было что-то нацарапано. Как только князь Данила Борисович прочитал, тотчас стену своими руками топором зарубил, а потом и весь павильон сломать приказал.

– Что ж такое там было?

– Чего здесь в старые годы не бывало?.. Да вы изволили, конечно, читать «Удольфские таинства» госпожи Ратклиф?

---

[12] Юпитер… всемогущий… *(лат.).*

[13] Венера и Адонис *(лат.).*

[14] Олений парк *(франц.).*

– Читал. А что?

– У нас по уезду старики-помещики говорят, будто госпожа Ратклиф те таинства с Заборья списывала. Правду ли, пустяки ль говорят, доложить не могу… А болтают.

– Скажите, пожалуйста, не осталось ли стариков, что жили в Заборье при князе Алексее Юрьиче?

– Где же? Помилуйте! Ведь князь-от Алексей Юрьич лет сто тому как помер. За пятнадцать лет до Пугачевщины скончался, считайте, сколько тому времени. Сын его, князь Борис Алексеич, и внук, князь Данила Борисович, подолгу здесь не живали, а княжна Наталья Даниловна и вовсе здесь не бывала. После нее имение за долги продано, теперь стало кирдяпинское. Старина и забылась. А долго-таки кое-что поддерживалось… Вот и я еще помню псарню здесь, музыкантов, арапа старого да карлика – древний-надревний был. Мало-помалу переводили все, а как вотчина к Кирдяпиным перешла, все порешилось. Сами изволите знать, уж как оно ни на есть, а все чужое. Оттого и не жаль. Был здесь старик Прокофьич. Чуть-чуть его помню. Да вот уж лет сорок, как и он помер. Вот он так уж всю подноготную про здешние старые годы знал. Дожил до ста лет, а в молодые годы, при князе Алексее Юрьиче в стремянных бывал. Мне про того Прокофьича Валягин Сергей Андреич много рассказывал, управляющим здесь был… Посажен был на вотчину Сергей Андреич князем Данилой Борисовичем, умер при княжне. Славный был человек, хороший, умный такой. Он даже записывал все, что ни рассказывал ему Прокофьич. Видал и я у покойника такую тетрадку.

– Куда ж она девалась?

– У наследников, должно быть, коли на подвертку свеч да на пироги не извели. После Сергея Андреича две дочери-девушки остались, у них должна быть.

– А где его дочери?

– А как Сергей-от Андреич помер, уехали они к тетке не то в Херсонскую, не то в Костромскую губернию, хорошенько сказать не могу. Слышно было, что замуж повышли, а за кого – тоже доложить не могу.

Между тем, сотский привел одного из хранителей заборовского дворца. Исправник приличным образом поругал его, посулил березовой лапши с ременным маслом и приказал отпереть дом.

Сыростью и затхлою гнилью пахнуло, когда отворили двери чертогов князей Заборовских. На каждом шагу из-под ног густая пыль поднималась, а ворвавшийся в растворенные двери поток свежего воздуха колыхал отставшие от стен и лохмотьями висевшие дорогие, редкостные когда-то шпалеры. Не грустью, не печалью веяло со стен запустелого жилища былой роскоши и чудовищного своенравия: будто с насмешкой и сожалением смотрели эти напудренные пастухи и пастушки, что виднелись на обветшалых дырявых гобеленах, а в портретной галерее потемневшие лики людей старых годов спесиво и презрительно глядели из потускневших резных рам… «Зачем вы зашли сюда, незваные гости? – будто спрашивали они. – Чего не видали… Вон ступайте, жалкие люди, мы вас не знаем, да и вам никогда не изведать нашей раздольной, веселой жизни, нашего буйного разгула, барских затей и ничем неудержимых порывов!..»

– Вот князь Алексей Юрьич! – сказал исправник.

Высокий, тучный князь стоял перед нами. Открытое лицо с римским носом и выдавшеюся вперед нижней губой выражало спесь непомерную и крутую волю, никогда и ни в чем не знавшую противоречия. Князь улыбался, но улыбка лукава была и коварна. Вот-вот сейчас нахмурится это высокое чело, и хитрые, слегка прищуренные, черные глаза заблестят неукротимым гневом… Рядом стоял портрет статной высокой женщины в желтом атласном помпадуре с черными кружевами. Лицо было прекрасно, в глазах много ума, но тихая затаенная грусть виднелась в них. Немного радостей, должно быть, видела она на веку своем!

– Это княгиня Марфа Петровна, – сказал исправник, – супруга князя Алексея Юрьича.

Один портрет особенно поразил меня. В голубой робе на фижмах, с тонко и кокетливо перегнутою талией, стояла, вероятно, молодая женщина: прекрасная ее рука, плотно обтянутая длинною перчаткой, играла розою. Но лицо, все лицо было густо замазано черною краской…

– Это что значит? – спросил я у исправника.

– А господь их знает, должно быть, не похожа была.

– Однако ж что у вас про это толкуют?

– Да говорить-то много говорят… Сказывают, что это первая супруга князя Бориса Алексеевича. В замужестве, слышь, недолго находилась, а взята была откуда-то издалека. Только что молодые успели, слышь, сюда к отцу приехать, князь Борис Алексеевич на войну ушел, супруга его стосковалась, в полк к нему поехала, да на дороге и померла. А скоро после того и сам князь Алексей Юрьич помер. Говорят, будто по смерти молодой княгини очень он тосковал… Пошел, слышь, раз в портретную один да и упал без памяти перед этим портретом. А как в чувство пришел, велел замазать лицо. И как замазали, на другой же день богу душу отдал. А другие говорят, что хлебнул чего-то… С мышьячком, должно быть, потому что перед смертью он ведь под суд попал…

В кабинете на стене висела писанная на пергаменте родословная. Похвально поступили господа Кирдяпины, оставив чуждый им пергамент в запустелом жилище князей Заборовских. Будто живой повествователь об угасшем роде, он здесь на своем месте.

Вот у корня родословного древа красуются имена Гедимина литовского, Монтевида керновского, Любарта волынского… Вот князь Минигайло Зимовитович… Приехал он в Москву на службу к великому князю Василию Дмитриевичу, крещен самим митрополитом Фотием и прозван князем Заборовским. И пошел от него ряд бояр, воевод и думных людей: водили Заборовские московские полки на крымцев и других супостатов; бывали Заборовские в ответе[15] у цесаря римского, у короля свейского, у польских панов Рады и у Галанских статов; сиживали Заборовские и в приказах московских, были Заборовские в городовых воеводах, но только в городах первой статьи: в Великом Новгороде, в Казани или в Смоленске… А вот сын окольничего, князь Юрий княж Никитич Заборовский, уже бритый, сидит обер-штеркригс-комиссаром в кригс-комиссариатской конторе военной коллегии… Скончался в Питербурх-городке после попойки с голландскими матросами и знатными персонами из российского шляхетства…

Единственный его сын, князь Алексей Юрьич, большой службы не сослужил, а *в случае* бывал. При Петре Великом ходу ему не было, потому что в дело не годился, зато ловкий князь после умел наверстать и взять свое: вовремя подбился к Меншикову, вовремя вошел в дружбу с молодым Долгоруковым, вовремя съездил в Митаву на поклонение Бирону, вовремя перекинулся к Миниху, вовремя сблизился с Лестоком. И когда правительственные перемены сопровождались казнями и ссылками, благополучие князя Алексея Юрьича оставалось неизменным: чины и деревни летели к нему при каждой перемене.

Нельзя сказать, чтобы он был человек умный: образование получил плохое, а от природы был коварен, тщеславен, к тому же был великий мастер лгать и хвастать непомерно. При Петре Великом приходилось ему сдерживать свой неукротимый нрав, в то время мог он давать полную волю одной только страсти – бражничанью. Много тогда было важных людей, сбривших бороды, надевших немецкие кафтаны, но оставшихся верными той стороне русской народности, про которую еще равноапостольный Владимир сказал: *«Руси есть веселие пити»*. Но, напиваясь, под защитой вельможных бражников, князь Алексей Юрьич вел себя так увертливо, что ни разу не отведал родительского наставления от петровской дубинки. Не понимая и не сознавая важности дела сближения русского общества с Европой, Заборовский полюбил, однако, общество иностранцев, в особенности близок был с венским резидентом Гогенцоллерном, с

[15] В послах.

голштинским бароном Стамбкеном, с прусскими баронами Мардефельдами, а они, как гласит история, были горькие пьяницы[16].

Никогда князь Алексей Юрьич не был так доволен судьбой, как в короткое царствованье Петра II. Хоть в то время было ему уж под сорок, но вошел он в тесную дружбу с даровитым, обаятельным, но беспутным юношей, князем Иваном Алексеичем Долгоруковым и был с ним все три года его могущества неразлучен. Князь Заборовский, под защитой всесильного кутилы, дал полную волю своему разгулу. Под прикрытием драгун, ровно сумасшедший, скакал он с князем Иваном по московским улицам, буйствовал днем, а по ночам нагло врывался в мирные семейства честных людей… Но когда Долгоруков девятилетней ссылкой и смертью на колесе платил за грехи молодости, ловкий князь Алексей Юрьич, ругая на чем свет стоит павшего собутыльника, с прекрасным аппетитом изволил кушать за роскошными обедами герцога Эрнста-Иоанна Курляндского. Будучи знатоком в лошадях и проводя ночи в попойках с братом герцога, Карлом, был он в ходу при Бироне, достиг генеральского ранга и получил кавалерию Александра Невского… Но в 1743 году счастье повернуло к нему спину: сказано было князю Алексею Юрьичу ехать в свои деревни. Такую немилость современники объясняли близкими отношениями его к царице всех балов и ассамблей, графине Ягужинской, и дружбою с первой красавицей Петербурга, Натальей Федоровной Лопухиной. Под шумок поговаривали, будто Ягужинская в числе немногих принимала князя Заборовского во время своего таинственного затворничества, будто фавориту Натальи Федоровны, графу Рейнгольду Левенвольду, князь Алексей Юрьич проигрывал в фаро огромные суммы, будто близок он был с венским резидентом, маркизом Боттой, будто раз на охоте арапником отдул самого Разумовского. Правда ли, нет ли – кто теперь разберет?..

Когда ветреных красавиц, приятельниц князя Заборовского, постигла плачевная участь, сам он хоть не совсем чист вышел из дела, но так сумел обделать делишки, что ему только велено было отправиться в свои вотчины для приведения в порядок расстроенных дел. Таким образом жив, здрав, невредим приехал князь Алексей Юрьич в свое Заборье; здесь он начал строить великолепный дворец, разводить сады и вести жизнь самую буйную, самую неукротимую… В деревенской глуши, в забытом уголке, никем и ничем не удерживаемый, он предался той жизни, что так по сердцу пришлась ему во дни могущества князя Ивана. Не только в Заборье, – по всей губернии все ему кланялось, все перед ним раболепствовало, а он с каждым днем больше и больше предавался неудержимым порывам необузданного нрава и глубоко испорченного сердца… Вскоре для князя не стало иной законности, кроме собственных прихотей и самоуправства… При таком состоянии человека до преступления один шаг, и князь Алексей Юрьич совершал преступления, но, совершая их, нимало не помышлял, что грешит перед богом и перед людьми. О последних-то, впрочем, он не заботился и, щедро оделяя вкладами монастыри, строя по церквам иконостасы и платя за молебны пригоршнями серебра, твердо уповал на божье милосердие… И до того дошел князь Заборовский, что рассказы про его житье-бьттье в наше время кажутся страшной сказкой…

Женат был князь Алексей Юрьич на княжне Марфе Петровне, последней в роде князей Тростенских. Своим приданым увеличила она и без того огромное богатство князей Заборовских. Единственный сын их, князь Борис Алексеевич, крестник императрицы Анны Иоанновны, вахмистр гвардии в колыбели, двадцати лет уехал из Заборья в Петербург искать счастья. Находясь с полком в каком-то захолустье России, влюбился он в дочь небогатого дворянина Коростина, женился на ней без родительского благословения и, за неимением наличных денег, приехал через год после свадьбы в Заборье, кинуться вместе с женой к стопам оскорбленного родителя… Ждали страшной грозы; дело кончилось благополучно. Молодая княгиня была так прекрасна, так была образованна, так умна, что с первого свидания умела

[16] Записка Дюка де-Лириа.

растопить каменное сердце сурового свекра… Вскоре началась Семилетняя война, молодой князь Заборовский поспешил под знамена Апраксина, оставив в Заборье молодую жену. Стосковавшись по муже, поехала она к нему в новопокоренный Мемель, но умерла по дороге…

После войны вдовый князь Борис Алексеевич поселился в Петербурге, женился в другой раз и, прожив до 1803 года по-барски, скончался от несварения в желудке после плотного ужина в одной масонской ложе. Целую жизнь, будто по заказу, старался он расстроить свое достояние, но дедовские богатства были так велики, что он не мог промотать и половины их, оставив все-таки три тысячи душ единственному своему сыну и наследнику, князю Даниле Борисовичу. Этот последний князь в древнем роде князей Заборовских как ни старался поправить грехи родительские, но не мог восстановить дедовского состояния. Впрочем, и сам он протирал-таки глаза отцовским денежкам исправно. С воронцовским корпусом во Франции был, денег, значит, извел немало; в мистицизм, по тогдашнему обычаю, пустился, в масонских ложах да в хлыстовском корабле Татариновой малую толику деньжонок ухлопал; делал большие пожертвования на Российское библейское общество. Душ восемьсот спустил понемножку. Дочь его, княжна Наталья Даниловна, как только скончался родитель ее, отправилась на теплые воды, потом в Италию, и двадцать пять лет так весело изволила проживать под небом Тасса и Петрарки, с католическими монахами да с оперными певцами, что, когда привезли из Рима в Заборье засмоленный ящик с останками княжны, в вотчинной кассе было двенадцать рублей с полтиной, а долгов на миллионы. Близких родственников у княжны не было, из дальних не оказалось ни в одном столь нежных родственных чувств к покойнице, чтоб воспользоваться Заборьем да кстати уж принять на себя и должишки итальянские. Кончилось тем, что Заборье пошло под молоток. Сын подносчика в Разгуляе стал владельцем гнезда знаменитого рода князей Заборовских, а кредиторы княжны получили по тридцати пяти копеек за рубль…

О, Гедимины и Минигайлы! Как-то встретили вы последнюю благородную отрасль вашего благоцветущего корня – княжну Наталью Даниловну?.. Князь Алексей Юрьич! Вы-то, батюшка, ваше сиятельство, как изволили встретить свою правнучку?.. Ну, он-то разве пожалел только, что встретился с нею не в здешнем свете. Здесь-то бы он расправился…

Лет через пять после того, как был я в Заборье, в одном степном городке на верховьях Дона, по случаю, досталась мне связка бумаг, принадлежавших какому-то господину Благообразову. Они состояли большею частью из черновых просьб, сочинением которых, как видно, занимался господин Благообразов. Но, представьте, каково было мое удивление, когда, разбирая кипу, в заглавии одной тетради я прочел:

Старые годы

Писано по словам столетнего старца Анисима Прокофьева с надлежащими объяснениями коллежским секретарем Сергеем Андреевым сыном Валягиным 17-го мая 1822 года в селе Заборье.

– Записки Валягина!

– Это, должно быть, тестя, – заметил случившийся на ту пору у меня один старожил того городка. – Благообразов-от на дочери Валягина был женат.

Вот «Записки Валягина».

I
Розовый павильон

Вскоре по приезде нашем в Заборье, только что принял я в управление вотчину, пошел я поутру с докладом к князю Даниле Борисычу. Он был не в духе.

– Я, говорит, сегодня ни на волос уснуть не мог. Что это за вой был у нас на рассвете?

– Должно быть, на псарном дворе собаки зверя учуяли, – докладываю ему.

А князь спрашивает с неудовольствием:

– Разве, говорит, у меня есть псарный двор?

– Как же, говорю, псарня у вашего сиятельства хорошая; собак пятьсот борзых да сотни полторы гончих. Псарей и доезжачих при них до сорока человек.

– Как! – закричал князь, – шестьсот пятьдесят собак и сорок псарей-дармоедов!.. Да ведь эти проклятые псы столько хлеба съедают, что им на худой конец полтораста бедных людей круглый год будут сыты. Прошу вас, Сергей Андреич, чтоб сегодня же все собаки до единой были перевешаны. Псарей на месячину, кто хочет идти на заработки – выдать паспорты. Деньги, что шли на псарню, употребите на образование в Заборье отделения Российского библейского общества.

– Слушаю, ваше сиятельство, – сказал я и тотчас же отдал приказ вешать собак.

Через полчаса приходит к князю древний старец. Лицо у него все сморщилось; длинные, по плечам лежавшие волосы пожелтели, во рту ни единого зуба, а черные глаза так и горят. Одет был он в старинный чекмень с золотым галуном, опоясан черкесским поясом.

– Я вековечный холоп вашего сиятельства, Анисим Прокофьев, – зашамкал старик, – а был, государь мой, первым стремянным у вашего дедушки, у князя Алексея Юрьича.

– Здравствуй, здравствуй, старик, садись-ка, устал, чай! – говорит ему князь.

– Сидеть мне перед вашим сиятельством не приходится. А пришел я к вам, государь мой, челом ударить.

– О чем, Анисим Прокофьич?

– Да слышно, ваше сиятельство, что изволили на нас свой княжеский гнев положить.

– Я?.. Что ты, Прокофьич?.. В уме ли?

– Не мудрое дело, ваше сиятельство, и ума лишиться от такого бесчеловечия!.. Избить шестьсот шестьдесят восемь собак, ничем неповинных!.. Это дело, сударь, не малое!.. Ведь это все едино, что как царь Ирод неповинных младенцев избивал!.. Чем бедные собачки провинились перед вашим сиятельством? Ведь это не шутка: шестьсот шестьдесят восемь собак задавить!.. Надо ведь будет вашему сиятельству и богу на страшном судище ответ отдавать…

– Полно, старик, успокойся, перестань… – говорит ему князь.

– Чего мне перестать… Коль я не буду говорить, кто тебе скажет? – гневно вскричал старый стремянный. – Да как же тому статься, чтоб всех собак перевешать?.. Дедами, прадедами псарня установлена, больше ста годов держится, прошла про нее слава по всему, почитай, свету, и вдруг ни с того ни с сего разом перевести ее!.. Да от такого дела, князь Данила Борисыч, кости твоих родителей во гробах повернутся, все твои деды, прадеды из гробов встанут, руки на тебя протянут, проклятье тебе изрекут. Знаешь ли ты, государь мой, что псарня-то наша со дней царя Петра Алексеича нерушимо стоит? За что ж ее порушить хотите?..

Да ведь это роду вашему вечный покор, всему вашему княжому племени бесчестье, не говорю уж про то, что на совесть свою такое душегубство хотите принять!.. Собака-то, батюшка, тоже тварь божия, а в Писании что сказано!.. – «блажен иже и скоты милует». Идете, ваше сиятельство, супротив божией заповеди!.. И вот, сударь, ваше сиятельство, надел я на старости лет жалованный чекмень вашего дедушки – двадцать лет в сундуке лежал, думал я, что придется его только в могилу надеть; вот, сударь, одел я и пояс черкесский, а жаловал мне

этот пояс родитель ваш в ту самую пору, как, женившись на вашей матушке, княгине Елене Васильевне, привез ее в вотчину и в первый раз охоту своей княгине изволил показывать: никто из наших не мог русака угнать, а сосед Иван Алексеич Рамиров уже совсем почти угонял, я поскакал, угнал русака и тем княжую честь перед молодой супругой сохранил… Власть ваша, князь Данила Борисыч, с места не сойду, покамест милости собакам не выпрошу.

– Да чего ж ты хочешь? – спрашивает у него князь.

– А того я хочу, ваше сиятельство, чтобы вы мне прежде голову приказали снять, а потом бы уж и собак вешать изволили… В этом чекмене, в этом поясе предстану я пред вашими родителями, дедами и прадедами, подведу к ним собачек, вами задавленных… А они-то, старики-то ваши, яко зеницу ока их берегли!.. Пусть же ваши родители судятся с вами на Страшном суде за такое злодейство… что не хотели вы уберечь родительского благословенья, пролили кровь неповинную!.. Дело мое, государь мой, старое, а порядки у вас новые, отпустите меня, ваше сиятельство, к господам моим: прикажите рубить голову, а там уж и собак вешайте.

От сильного волнения у Прокофьича дух занялся и ноги подкосились; он бы упал и расшибся, если б мы с князем его не поддержали. Без чувств вынесли старика из дома.

Горячее заступничество девяностолетнего стремянного спасло на время собак. Псарный двор в Заборье был уничтожен лишь после смерти князя Данилы Борисыча и Прокофьича…

Князь полюбил старика, часто призывал его к себе и расспрашивал о старых годах. По нескольку часов, бывало, просиживали они вместе.

Раз, вечером, после долгой беседы с Прокофьичем, послал князь за мной, требуя, чтоб я тотчас же явился к нему.

Я нашел князя сильно возволнованным.

– Сергей Андреич, – сказал он, – в состоянии ли вы несколько часов, вместе со мной, проработать ломом?

– Как проработать ломом, ваше сиятельство?

– Пробить каменную стену… Видите ль, Прокофьич сейчас рассказал мне один необыкновенный случай старого времени… Мне бы хотелось узнать: вздор болтает старик или правду говорит… Посторонних, особенно своих крепостных, в это дело мешать не годится… Будьте так любезны, Сергей Андреич, не откажите…

Я согласился, дал слово и спросил князя, что ж такое рассказывал ему Прокофьич?

– Э, да все это, может быть, еще вздор… Прокофьич, кажется, из ума стал выживать, рассказывает вещи несодеянные… А все-таки хочется удостовериться… Завтра, надеюсь, вы исполните данное слово.

Я повторил обещание, и князь тотчас же завел речь о хозяйственных делах, но, занятый другим, вовсе не слушал слов моих. Наконец отпустил меня.

– Так завтра? – сказал он, подавая руку.

– Слушаю, ваше сиятельство.

Таинственность предстоявшей работы, какое-то необыкновенное событие старых годов, волнение князя – все это до такой степени распалило мое воображение, что я всю ночь заснуть не мог. Чем свет присылает за мной князь.

– Пойдемте! – сказал он, когда я вошел в кабинет.

Пошел за ним. Князь отдал приказание, чтобы никто не смел входить в сад до нашего возвращенья. Пройдя большой сад, мы перешли мост, перекинутый через овраг, и подошли к «Розовому павильону». У входа в тот павильон уже лежали два лома, две кирки, несколько восковых свеч и небольшой красного дерева ящик. Князь на рассвете сам их отнес туда.

В павильоне было пять или шесть комнат. Пройдя три, князь ударил в глухую стену и сказал:

– Здесь!

Мы принялись за работу; часа через полтора стена была пробита. Князь зажег свечи, и мы пролезли в темную, наглухо со всех сторон закладенную комнату.

Среди развалившейся и полусгнившей мебели лежал человеческий остов…

Князь перекрестился, заплакал и тихо проговорил:

– Упокой, господи, душу рабы твоея.

– Старик сказал правду! – прибавил он, немного помолчав.

– Что это? – спросил я, немного оправившись от первого впечатления.

– Грехи старых годов, Сергей Андреич… После все расскажу; теперь помогите собрать это…

Бережно собрали мы кости и положили их в ящик красного дерева. Князь запер его и положил ключ в карман. Когда мы собирали смертные останки, нашли между ними брильянтовые серьги, золотое обручальное кольцо, несколько проволок из китового уса, на которых кой-где уцелели лохмотья полуистлевшей шелковой материи. Серьги и кольцо князь взял к себе.

Утомленные трудом и сильными впечатлениями, вынесли мы ящик из сада.

– Сейчас же собрать человек полтораста с ломами и топорами да нарядить пятьдесят подвод! – сказал князь бурмистру, проходившему через двор.

Я зашел в свой флигель умыться и переодеться. Когда пришел к князю, его не было в кабинете.

– Где князь? – спросил я попавшегося лакея.

– В портретную галерею прошли! – отвечал тот.

Там, запыленный, запачканный, как вышел из павильона, стоял князь перед портретом женщины, у которой, по какой-то прихоти прежних владельцев, лицо было замазано черной краской. Знакомый ящик стоял на полу перед портретом. Я взглянул на князя. Он плакал.

И рассказал он страшную повесть старого времени. Подробнее узнал я ее после от Прокофьича…

Когда рабочие были собраны, князь приказал им сломать «Розовый павильон» до основания, а кирпич отвезти к строившейся тогда в Заборье церкви. Когда потолок с павильона был снят, мы еще раз вошли в ту комнату.

На стене чем-то острым было нацарапано: *1757 года октября 14-го. Прости, мой милый, твоя Варенька пропала от жестокости те…*

– Топор! – вскрикнул князь, прочитав эти слова.

Подали топор. Князь быстро изрубил штукатурку.

– Живей ломайте! – торопил он рабочих. – Скорее, скорей!

К вечеру павильон был сломан.

На другой день чем свет подали карету. Мы сели вдвоем с князем и взяли с собой обернутый в черное сукно ящик.

– В монастырь! – сказал князь.

Там, в усыпальнице князей Заборовских, зарыли мы ящик с костями, а на другой день слушали заупокойную обедню и панихиду *о упокоении души рабы божией княгини Варвары.*

Через неделю князь Данило Борисыч уехал в Петербург. Больше мы с ним и не видались. Через три года он скончался. В духовном завещании не забыл ни меня, ни Прокофьича.

Молва о таинственной работе нашей и о сломке павильона быстро разошлась по народу. Толковали, что князь в «Розовом павильоне» нашел целый ящик золота. Чтоб поддержать этот слух, он сам после рассказывал своим знакомым, что Прокофьич открыл ему тайник, где князем Алексеем Юрьичем заложены были некоторые родовые драгоценности. Мы с Прокофьичем ту же сказку рассказывали. Так все и уверились.

II
Прокофьич

– Да, батюшка Сергей Андреич, – говорил мне однажды Прокофьич, – в старину-то живали не по-нынешнему. В старину – коли барин, так и живи барином, а нынче что? Измельчало все, измалодушествовалось, важности дворянской не стало. Последние годы мир стоит. Скоро и свету конец.

Совсем, сударь, другой свет ноне стал. Посмотришь-посмотришь, да иной раз согрешишь и поропщешь: зачем, дескать, господи, зажился я у тебя на здешнем свете? Давно бы тебе пора велеть старым моим костям идти на вечный покой, не глядели бы мои глазыньки на годы новые… А все-таки, батюшка Сергей Андреич, мил вольный свет, хоть и подумаешь этак, а помирать не хочется.

А уж так измельчало, так измельчало все, что и сказать невозможно. У барина, например, не одна тысяча душ, а во дворе каких-нибудь десять-пятнадцать человек – и дворней-то нельзя назвать. Псарня малая, ни музыкантов, ни песенников, а уж насчет барских барынь, шутов, карликов, арапов, скороходов, немых, калмыков – так, я думаю, теперь ни у одного барина и в заводе нет; все стали ровно мелкопоместные. Я так полагаю, сударь, что теперь вряд ли где можно сыскать кучера, чтоб сумел карету цугом заложить. Все на парочках – ровно мелкого рангу, аль купцы какие… А ведь и в законе написано, что столбовому барину шестериком ездить следует. Да чего уж тут шестериком? – до такой срамоты дошли, что и сказать нельзя: заложат куцу лошаденку в каку-то чухонску одноколку, сядет лакей с барином рядом – сам руки крестом, а барину вожжи в руки. Смотреть даже скверно… Вот до какого унижения дошли!.. И хоть бы неволя нудила, ну, делать нечего, – так ведь нет: сами захотели… Просто, сударь, можно сказать – никакого благородства не стало, один бог знает, что это значит такое. До чего ведь иные дворяне дошли? Торговать пустились, на купчихах поженились, конторские книги сами ведут! Ну, сами вы умный человек, посудите ради Христа – дворянское ли это дело?.. Да хоть бы богатство от того какое получили; и того нет – все профуфынились, всяк должен век, а платежу нет как нет… Эх, встали бы дедушки да прадедушки, царство им небесное!..

Уж свели бы любезных внучков на конюшню, да, по старому заведению, такую бы ременную масленицу в спину-то им засыпали, что забыли бы после того дурь-то на себя накидывать.

Хоть бы нашего князя Данилу Борисыча взять! Что ни говорите, беден он, беден, а все ж не одна тысяча душ у него найдется – стало быть, барин настоящий. А похож ли хоть маненько на барина-то? Ну, сами вы скажите – похож ли?.. В Москве в каком-то нивирситете обучался, с портными да с сапожниками там на одной скамье, слышь, сидел, – товарищем ихним звался. Ну, возможно ль сапожнику с князем в товарищах быть?.. Что же вышло? Сапожников да всяких других разночинцев не облагородил, а сам вкруг них холопства набрался. Хотя бы вот тогда приезжал он с вами в свою вотчину – что делал? Чем бы на охоту съездить, аль банкет сделать, бал, гулянку какую, – по мужичьим избам на посиделки почал таскаться, с парнями да с девками мужицкие игры играть; стариков да старух сказки заставлял рассказывать да песни петь, а сам на бумагу их записывал… Княжеское ли это дело?.. Старые книги да образа за большие деньги стал покупать. Кто ни скажет ему: вот, мол, ваше сиятельство, в такой-то деревне у такого-то мужика есть редкостная книга, – глазенки у него так и загорятся, так и забегают. В полночь ли, за полночь ли – лошадей!.. И поскачет, сломя голову, верст за тридцать либо за сорок к мужику за книгой… Курганы почнет копать, сам с мужиками в земле роется, черепки там попадутся аль жеребейки какие, он их в хлопчату бумагу ровно драгоценные камни, да в ящики, да в Питер. Не видали, знать, там этакой дряни!.. Увидал раз нищего слепца, стоит слепец на базаре, Лазаря поет. Батюшки светы!.. Наш князь Данила Борисыч так и взбеленился, берет слепца за руки, сажает с собой в карету; привез домой, прямо его в

кабинет, усадил оборванца на бархатных креслах, водки ему, вина, обедать со своего стола, да и заставил стихеры распевать. Тот обрадовался да дурацкое свое горло и распустил, орет себе, как бурлак какой, а князь Данила Борисыч все на бумагу да на бумагу… Ну хорошее ли это, сударь, дело?.. Ведь грязью играть – только руки марать, дело это не княжеское… Три дня тот нищий у нас выжил, пил, ел с княжого стола, на пуховой постели, собака, дрыхнул, а как все стихеры перепел, князь ему двадцать рублей деньгами, одежи всякой, харчей, повозку велел заложить да отвезти до села, где он в кельенке при церкви живет. А сам-от после носится со стихерами: «золото, говорит, неоцененное сокровище!» Хорошо сокровище, нечего сказать! Просто сказать, ума лишился, и все тут.

Нет, сударь, в стары годы жили не так. В стары годы господа держали себя истинно по-барски, такую дрянь, как нищий слепец, на версту к себе не допускали. Знай, дескать, сверчок свой шесток. Компанию с ровней водили, другой хоть и шляхетного роду, да не богат, так его разве только из милости в «знакомцы» принимали, чтоб над ним когда потешиться, аль чтобы в доме было полюднее. И должен был тот «знакомец» ходить по струнке, а чуть проштрафился, шелепами его на конюшне… Да иначе и не следует: как бы на горох не мороз, он бы через тын перерос. Так вот, сударь, как в стары-то годы живали! А теперь что! Тьфу!

Хоть бы, например, при князе Алексее Юрьиче здесь в Заборье было!.. Подлинно, не жизнь, а рай пресветлый. Богатство-то, сударь, какое, изобилие-то какое было! Одного столового серебра сто двадцать пудов, в подвале бочонки с целковыми стояли, а медные деньги, что горох, в сусеки ссыпали: нарочно такие сусеки в подвалах были наделаны. Музыкантов два хора, на псарне не одна тысяча собак, на конюшне пятьсот лошадей верховых да двести езжалых; шутов да юродивых десятка полтора при доме бывало, опричь немых арапов да карликов. Шляхетного рода «знакомцев» из мелкопоместных, человек по сорока и больше проживало. Мужики ли, бывало, у кого разбегутся, деревню ль у кого судом оттягают, пропьется ли кто из помещиков, промотается ли, всяк, бывало, в Заборье на княжие харчи. Опять барыни-приживалки, барышни: этих тоже штук по тридцати водилось. Уж именно дом был, как полная чаша. А сам-от князь какой был барин! Такой, сударь, важности, что теперь, весь свет исходи, днем с огнем не сыщешь… И все-то прошло, все-то миновалось! Да, сударь, стары годы были годы золотые, были они, сударь, да и прошли, прошли и не воротятся. Красно лето два раза в году не живет!

А куда каково давно тому времени, как в Заборье-то было житье-бытье раздольное да привольное! Мне теперь десятый десяток идет, а в ту пору и тридцати годков не было, как батюшки-то нашего, князя Алексея Юрьича, не стало. А скончаться изволил лет семидесяти без малого… Да я уж что за жизнь застал? Тогда уж князь-от в немилости был, в опале то есть, а вот как, бывало, родитель мой – дай ему бог царство небесное, а вам добро здоровье – порасскажет про те годы, как князь-от Алексей Юрьич в настоящей своей поре был и в Питере «во-времени» находился, а в Заборье бывал только наездами, так вот тогда точно что жизнь была золотая. И умирать не надо было.

А батюшку моего покойника князь Алексей Юрьич изволил жаловать своей княжею милостью. Перво-наперво он у него в доезжачих находился, а потом в стремянные попал, да проштрафился однажды: русака в остров упустил. Князь Алексей Юрьич за то на него разгневался и тут же, на поле, изволил его из своих рук выпороть, да уж так распалился, что и на конюшне еще велел пятьсот кошек ему влепить и даже согнал его со своих княжих очей: велел управляющим быть в низовой вотчине… Однако ж после того годов этак через пяток помиловал – гнев и опалу изволил снять.

Вот как то дело случилось. Князь Алексей Юрьич на охоту по первой пороше поехал. Время стояло холодное, на Волге уж закраины, только самые еще что называется стекольные, значит, лед пятаком можно еще пробить. Ста полтора русаков заполевали, за монастырем, на угоре, привал сделали. А гора в том месте высокая, что стена над Волгой-то стоймя стоит.

Князь Алексей Юрьич весел был, радошен, потешаться изволил. Сел на венце горы верхом на бочке с наливкой, сам целый ковшик изволил выкушать, а потом всех тут бывших из своих рук поил, да, разгулявшись, и велел доезжачим да стремянным резака делать. А чтоб сделать резака, надо под гору торчмя головой лететь, на яру закраину головой прошибить да потом из-подо льда и вынырнуть. Любимая была потеха у покойника, дай бог ему царство небесное! На ту пору никто не сумел хорошо резака сделать: иной сдуру, как пень, в реку хлопнется, – а это уж не то, это называется паля, и за то пятнадцать кошек в спину, чтоб она свое место знала и вперед головы не совалась. Другой, не долетевши до льда, на горе себе шею свернет, а три дурака хоть и справили резака, да вынырнуть не сумели: пошли осетров караулить. Осерчал князь Алексей Юрьич: «Всех, закричал, запорю до смерти!» За мелкопоместное шляхетство принялся, им приказал резака справлять. Те еще хуже: один и прошиб было головой лед, да тоже к осетрам в гости поехал.

Заплакал индо князь Алексей Юрьич, навзрыд зарыдал: таково ему стало горько и прискорбно.

– Видно, говорит, последние мои дни настают, что нет у меня молодца, чтоб резака сумел справить!.. Все равно бабы!.. А где, говорит, Яшка Безухой?.. Вот удалец-от: по три резака, бывало, сряду делывал.

А это он про батюшку-покойника изволил вспомянуть. А батюшка-покойник и в самом деле безухий был. Лево-то ухо ему медведь отгрыз: раз как-то князь Алексей Юрьич изволил приказать батюшке с любимым своим медведем побороться, медведь, видно, осерчал да ухо батюшке и прочь, а батюшка-покойник не вытерпел да охотничьим ножом Мишку под лопатку и пырнул. У того дух вон. Так за то, что осмелился без спросу княжего медведя положить, князь Алексей Юрьич приказал для памяти батюшке-покойнику и другое ухо отрезать и прозвал его потом Яшкой Безухим. А батюшку-покойника вовсе не Яковом, а Прокофьем звали.

– Где, кричит, Яшка Безухой. Подавай сюда Яшку Безухого!

Доложили, что Яшка Безухой под гневом находится пятый год, низовой вотчиной управляет.

– Давай сюда Яшку Безухого – он у меня на резаке не прорежется, как вы, шельмецы.

Поскакали за покойным батюшкой. Ну, Саратов – место не ближнее: когда батюшку оттуда ко княжему двору привезли, лед-от такой уж стал, что будь у покойника свинцовая голова, так и тут бы ему резака не сделать. Допустили батюшку до светлых очей князя Алексея Юрьича.

– Здравствуй, говорит, Яшка Безухой!

Батюшка в ноги; князь его пожаловал, велел встать.

– Что, говорит, резака завтра с того угора вальнешь?

– Можем постараться, батюшка, ваше сиятельство, надеючись на милость божию да на ваше княжеское счастье! – отвечал покойник родитель мой.

– Ладно, говорит, ступай на псарный двор. Жалую тебя сворой муругих.

А к утру вьюга. Да так поля засыпала, что охота совсем порешилась. Остался резак за батюшкой до другого ледостава. Зато уж какого же резака на другую-то осень он справил… И за такую службу его и за великое раденье жаловал его князь Алексей Юрьич своей княжеской милостью: изволил к ручке допустить, при своей княжой охоте приказал находиться, красный чекмень с позументом пожаловал, на барской барыне женил, и сказано было ему быть в первых псарях. И до самой кончины князя Алексея Юрьича батюшка у него в самых ближних людях и в большой милости находился. А как я родился, князь Алексей Юрьич сам изволил меня от святой купели воспринимать, а восприемницей была Степанида-птичница, гайдука Самойлы жена. Тоже из барских барынь.

Подрос я, сударь, у батюшки на псарне, а как приехал князь сюда совсем на житье и мне шестнадцать лет исполнилось, изволил он и меня своей высокой милостью взыскать. На

само светло Христово воскресенье, после заутрени, сказал свое жалованье: велел в комнатных казачках при себе быть, есть с княжьего стола, а матушке-покойнице давать за меня месячину мукой, крупой, маслом, да по три алтына в месяц деньгами. В грамоту с прочими казачками меня отдали, драли, сударь, немилосердно, однако ж дьячок Пафнутий до своего дошел: грамота всем далась, цифирному делу даже маленько навыкли. А когда исполнилось мне двадцать годов, стали нас распределять по наукам: кого в музыканты, кого в часовщики, кого в живописцы, кого французскому учиться, чтоб с молодым князем с Борисом Алексеевичем в Париж отправить. Меня же, за многую службу матушки-покойницы и по ее великой слезной просьбе, по собачьей части князь определить изволил.

Было, сударь, мне лет двадцать с небольшим, как сподобил и меня господь перед светлыми очами князя Алексея Юрьича малую службишку справить и тем его княжеского жалованья и милости удостоиться. Верстах в двадцати от Заборья, там, за Ундольским бором, сельцо Крутихино есть. Было оно в те поры отставного капрала Солоницына: за увечьем и ранами был тот капрал от службы уволен и жил во своем Крутихине с молодой женой… А вывез он ее из Литвы, аль из Польши, а может статься, из хохлов, доподлинно не знаю, – только красавица была писаная, теперь, думать надо, изойти весь белый свет, такой не найдешь. Князю Алексею Юрьичу Солоничиха приглянулась: сначала хотел ее честью в Заборье сманить, однако ж она не поддалась, а муж взъерошился, воюет: «Либо, говорит, матушке государыне подам челобитную, либо, говорит, самого князя зарублю». Выехали однажды по лету мы на красного зверя в Ундольский бор, с десяток лисиц затравили, привал возле Крутихина сделали. Выложили перед князем Алексеем Юрьичем из тороков зверя травленого, стоим, ждем слова ласкового.

А князь Алексей Юрьич кручинен сидит, не смотрит на красного зверя травленого, смотрит на сельцо Крутихино, да так, кажется, глазами и хочет съесть его.

– Что это за лисы, говорит, что это за красный зверь? Вот как бы кто мне затравил лисицу крутихинскую, тому человеку я и не знай бы что дал.

Гикнул я да в Крутихино. А там барынька на огороде в малинничке похаживает, ягодками забавляется. Схватил я красотку поперек живота, перекинул за седло да назад. Прискакал да князю Алексею Юрьичу к ногам лисичку и положил. «Потешайтесь, мол, ваше сиятельство, а мы от службы не прочь». Глядим, скачет капрал; чуть-чуть на самого князя не наскакал… Подлинно вам доложить не могу, как дело было, а только капрала не стало, и литвяночка стала в Заборье во флигеле жить. Лет через пять постриглась, игуменьей в Зимогорском монастыре была, и князь Алексей Юрьич очень украсил ей обитель, каменну церковь соорудил, земли купил, вклады большие пожаловал.

Добрая была барынька, дай ей бог царство небесное, милостивая: как жила в Заборье, завсегда умела утолить сердце князя Алексея Юрьича. Только что он на своих ли холопей, на мелкопоместное ли шляхетство распалится, завсегда, бывало, уймет его. Много за нее бога молили.

За эту самую службу изволил меня князь Алексей Юрьич беспримерно пожаловать. «Коли верен раб, так и князь ему рад», – при всех сказать изволил и велел мне быть при своем княжем стремени. Чекмень малиновый с позументами изволил пожаловать, полтора рубля деньгами, чарку серебряную, три полушубка мерлушчатых, лисью шубу, да кусок сукна немецкого. А сверх того соизволил женить меня на барской барыне. Однако ж матушка-покойница князя уклaняла: за молодостью лет в брачное дело мне вступить было отказано. Милость князя была ко мне великая: заместо женитьбы с птичного двора девку Акульку в наложницы мне пожаловал. Да ведь не то, чтоб я просил о том, нет, сударь, сам пожаловать изволил, без просьбы… После того, года через два, меня на певице женили, на родной сестре Василисы Бурылихи, что в Заборье надо всеми порядок держала. Презлющая баба была эта Василиса, а с рожи такая, что как во сне, бывало, приснится, вскочишь да перекрестишься. А у князя

Алексея Юрьича в великой была милости, для того, что по девичьим ладно дела вела. Мне с женой из-за нее куда как хорошо было жить.

III
На ярмонке

«Отселе, – сказано в записках Валягина, – заношу в сию тетрадь со слов Анисима Прокофьева и по рассказам других стариков».

В старые годы бывала в Заборье ярмонка, приходилась она в летнюю пору. Съезжались на ту ярмонку люди торговые со всякими товарами со всего царства русского, а также из других краев, всякие иноземцы бывали, и всем был вольный торг на две недели. Сказывали купчины, что наша Заборская ярмонка малым чем Макарьевской уступала, а украинских и иных много лучше была. Теперь совсем порешилась.

Была она на земле монастырской, оттого все сборы денежные: таможенный, привальный и отвальный, пятно конское и австерские, похомутный и весчая пошлина сполна шли на монастырь. Монастырскую землю заборские дачи обошли во все стороны, оттого ярмонка в руках князя Алексея Юрьича состояла. Для порядку наезжали из Зимогорска комиссары с драгунами: *«для дел набережных»* и *«для дел объезжих»,* да асессоры провинциальные, – исправников тогда и в духах не бывало, – однакож вся сила была в князе Алексее Юрьиче.

Наступит девята пятница, начало ярмонке. С раннего утра в Заборье все закишит, ровно в муравейнике: в парад зачнут сбираться, пудриться, одеваться, коней седлать, кареты закладывать. И когда все по чину устроится, пойдет к князю старший дворецкий с докладом, – а бывал в том чине не из холопей, а из мелкопоместного шляхетства. Доложит он, что время на ярмонку ехать, и велит князь в ряды строиться. Доложат, что построились, выйдет на крыльцо во всем наряде: в алом бархатном кафтане, шитом золотом, камзоле с серебряными блестками, в парике по плечам, в треугольной шляпе, в красной кавалерии и при шпаге. За ним с сотню других больших господ, «знакомцев» и мелкопоместного шляхетства и недорослей – все в шелковых кафтанах и париках. Потом выйдет на крыльцо княгиня Марфа Петровна – в помпадуре из серебряной парчи с алыми разводами, волосы кверху зачесаны и напудрены, наверху кораблик, а шея, грудь и голова так и горят камнями самоцветными. За ней барыни – все в робронах, в пудре, приживалки в княгининых платьях, комнатные девки – в золотых шугайчиках, в летниках и собольих шапочках.

– Трогай! – крикнет, севши в карету, князь Алексей Юрьич, и поезд поедет к монастырю.

Впереди пятьдесят вершников, на гнедых лошадях, все в суконных кармазинных чекменях, штаны голубые гарнитуровые, пояса серебряные, штиблеты желтые, на головах парики пудреные, шляпы круглые с зелеными перьями.

За вершниками охота поедет, только без собак. Псари и доезжачие регументами: первый регимент на вороных конях в кармазинных чекменях, другой регимент на рыжих конях в зеленых чекменях, третий – на серых лошадях в голубых чекменях. А чекмени у всех суконные, через плечо шелковые перевязи, у одних белые, шиты золотом, у других пюсовые, шиты серебром. За ними стремянные на гнедых конях в чекменях малиновых, в желтых шапках с красными перьями, через плечо золотая перевязь, на ней серебряный рог.

За охотой мелкопоместное шляхетство и «знакомцы» верхами, кто в мундире, кто в шелковом французском кафтане, все в пудреных париках, а лошади подо всеми с княжей конюшни. За шляхетством, мало отступя, сам князь Алексей Юрьич в открытой золотой карете, цугом, лошади белые, а хвосты да гривы черные, – нарочно чернили. За каретой четыре гайдука на запятках да шестеро пешком, все в зеленых бархатных кафтанах, а кафтаны вкруг шиты золотом, камзолы алого сукна, рукава алого бархату с кондырками малыми, золотой бахромой обшитыми. Шапки на гайдуках пюсового бархату с золотыми шнурами и с белыми перьями. И у каждого гайдука через плечо цепь серебряная. За каретой арапы пешком в красных юбках, с золотыми поясами, на шее у каждого серебряный ошейник, на голове красна шапка. Потом

другая золотая карета, тоже цугом, в ней княгиня Марфа Петровна, вкруг ее кареты скороходы, на них юбки красного золотного штофа, а прочее платье белого штофа серебряного, сами в париках напудренных больших, без шапок. За княгининой каретой карет сорок простых, не золоченых, каждая заложена в четыре лошади без скороходов, а только по два лакея в желтых кафтанах на запятках; в тех каретах большие господа с женами и дочерьми, барыни из мелкопоместного шляхетства и вольные дворянки, что при княжом дворе проживали. Потом, на княжих лошадях, что поплоше, видимо-невидимо мелкопоместного шляхетства.

Приедут к монастырю, у святых ворот из карет выйдут и в церковь пешком пойдут. А как службу божественную отпоют, с крестным ходом кругом монастыря отправятся, да, обошедши монастырь, на ярмонку, ради освящения флагов. Как станут воду святить, пальба из пушек пойдет и музыка. Тут князь Алексей Юрьич к архимандриту ярмоночный флаг поднесет, тот святой водой его покропит, а князь на столб своими руками вздернет. Пушки запалят, музыка играет, трубы, роги раздадутся, а народ во все горло: ура! и шапки кверху. Это значит, ярмонка началась, и с того часу всем купцам торг повольный, а смей кто допрежь урочного часу лавку открыть, запорет князь Алексей Юрьич того до полусмерти и товар в Волгу велит покидать либо середи ярмонки сожжет его.

К архимандриту обедать! А на поле возле ярмонки столы накроют, бочки с вином ради холопей и для черного народу выкатят. И тут не одна тысяча людей на княжой кошт ест, пьет, проклажается до поздней ночи. Всем один приказ: «пей из ковша, а мера душа». Редкий год человек двадцать, бывало, не обопьется. А пьяных подбирать было не велено, а коли кто на пьяного наткнулся, перешагни через него, а тронуть пальцем не смей.

На другой день в Заборье пир горой. Соберутся большие господа и мелкопоместные, торговые люди и приказные, всего человек, может, с тысячу, иной год и больше. У князя Алексея Юрьича таков был обычай: кто ни пришел, не спрашивают, чей да откуда, а садись да пей, а коли есть хочешь, пожалуй, и ешь, добра припасено вдосталь… На поляне, позадь дому, столы поставлены, бочки выкачены. Музыка, песни, пальба, гульба день-деньской стоном стоят. Вечером потешные огни да бочки смоляные, хороводы в саду.

Со всей волости баб да девок нагонят… Тут дело известное: что в поле горох да репка, то в мире баба да девка, значит, тут без греха невозможно, потому что всяка жива душа калачика хочет. Потешные-то огни как потухнут, князь Алексей Юрьич с большими господами в павильон, а мелкопоместное шляхетство в садочке, на лужочке да по овражкам всю ночь до утра прокуражатся.

Да так всю ярмонку и прогуляют. Каждый божий день народу видимо-невидимо. И все пьяно. Крик, гам, песни, драка – дым коромыслом.

А на ярмонку ради порядку князь Алексей Юрьич каждый день изволил сам выезжать. Чуть кого в чем заметит, тут ему и расправа. И суд его был всем приятен, для того, что скоро кончался; туг же, бывало, на месте и разбор и взысканье, в дальний ящик не любил откладывать: все бы у него живой рукой шло. Чернил да бумаги беда как не жаловал. Зато все торговые люди, что на Заборскую ярмонку съезжались, как отца родного любили его, благодетелем и милостивцем звали. И они до бумаги-то не больно охочи. До челобитных ли да до приказных дел купцу на ярмонке, когда у всякого каждый час дорог?

Не любил тех князь Алексей Юрьич, кто помимо его по судам просил. Призовет, бывало, такого, шляхетного ли роду, купчину ли, мужика ли, ему все едино: перво-наперво обругает, потом из своих рук побить изволит, а после того кошки, плети аль кашица березовая, смотря по чину и по званию. А после бани тот человек должен идти к князю благодарить за науку.

– То-то и есть, – скажет тут князь, – ты как гусь: летаешь высоко, а садиться не умеешь, вот и дождался. Разве нет тебе моего суда, что вздумал по приказным ходить? Смотри же, вперед будь умнее…

И ничего, еще ручку пожалует поцеловать и велит того человека напоить, накормить до отвалу.

Купцам на ярмонке такой был приказ: с богатого сколь хочешь бери, обманывай, обмеривай, обвешивай его, сколько душе угодно; бедного обидеть не моги. Раз позвал князь к себе в Заборье одного московского купчину обедать: купец богатеющий, каждый год привозил на ярмонку панского и суровского товару на многие тысячи: парчи, дородоры, гарнитуры, глазеты, атласы, левантины, ну и всякие другие материи. А товар-от все прочный был – лубок лубком; в нынешне время таких материй и не делают, все стало щепетильнее, все измельчало, оттого и самую одежу потоньше стали носить. Пообедавши, говорит князь Алексей Юрьич купчине:

– Ты почем, Трифон Егорыч, алый левантин продаешь?

– По гривне, ваше сиятельство, продаем и по четыре алтына, смотря по доброте.

– А была у тебя вчера в лавке попадья из Большого Врагу?

– Не могу знать, ваше сиятельство, народу в день перебывает много. Всех запомнить невозможно.

– Попадья у тебя аршин алого левантину на головку покупала. Почем ты ей продал?

– Не помню, ваше сиятельство, хоть околеть на этом месте, не помню. Да еще может статься, не сам я и товар-от ей отпущал, из молодцов кто-нибудь.

– Ну ладно, – сказал князь Алексей Юрьич да и кликнул вершника. А вершников с десяток завсегда у крыльца на конях стояло для посылок.

Вошел вершник. Купчина ни жив ни мертв: думает – на конюшню. Говорит вершнику князь Алексей Юрьич:

– Проводи ты вот этого купчину до ярмонки, там он даст тебе кусок алого левантину самого лучшего. Возьми ты этот левантин и духом отвези его в Большой Враг, отдай отца Дмитрия попадье и скажи ей: купец, мол, московский Трифон Егорыч Чуркин кланяться тебе, матушка, велел и прислал, дескать, кусок левантину в подарок за то-де, что вчера он с тебя за аршин такого же левантина непомерную цену взял. А ты, Трифон Егорыч, за молодцами-то приглядывай, чтоб они бедных людей не обижали, а то ведь я по-свойски расправлюсь. Пороть тебя не стану, а в сидельцы к тебе пойду. Так смотри же, держи у меня ухо востро.

Недели не прошло, спроведал князь про Чуркина, однодворца какого-то канифасом обмерил. Только услыхал про это, ту ж минуту на конь, прискакал на ярмонку, прямо к Чуркину в лавку.

– А ты, говорит, Трифон Егорыч, приказ мой позабыл? Экая, братец мой, у тебя память-то короткая стала! Нечего делать, надо мне свое княжое слово выполнить, надо к тебе в сидельцы идти. Эй вы, аршинники, вон из лавки все до единого!

Чуркин с молодцами из лавки вон, а князь Алексей Юрьич, ставши за прилавок да взявши в руки аршин, крикнул на всю ярмонку зычным голосом:

– Господа честные, покупатели дорогие! К нам в лавку покорно просим, у нас всякого товару припасено вдоволь, есть атласы, канифасы, всякие дамские припасы, чулки, платки, батисты!.. Продаем без обмеру, без обвесу, безо всякого обману. Сдачи не даем и сами мелких денег не берем. Отпускаем товар за свою цену за наличные деньги, у кого денег нет, тому и в долг можем поверить: заплатишь – спасибо, не заплатишь – бог с тобой.

Навалила в лавку чуть не целая ярмонка. А князь за прилавком аршином работает: пять аршин чего ни на есть отмеряет да куска два-три почтения сделает. Таким манером часа через три у Чуркина весь товар распродал, только наличной выручки оказалось число невеликое.

– Вот тебе, – сказал князь Алексей Юрьич Чуркину, – выручка, а остальной товар в долг продан. Ищи, хлопочи, сбирай долги, это уж твоя забота, а мое дело сторона. Да ты у меня смотри, попадью с однодворцем не забывай. Поедем теперь в Заборье обедать; оно бы, по-настоящему, с тебя магарычи-то следовали, ну, да так и быть: пожалуй, уж я накормлю. Садись в карету.

Замялся Чуркин, не лезет в карету, стоит, дрожит, как зачумленный.

– Не бойсь, хозяин, садись, – говорит ему князь Алексей Юрьич. – Ты, чай, думаешь, драть тебя стану, не бойся: сказано, не стану пороть, значит, и не стану. Захотел бы плетью поучить – и здесь бы спину-то вздул. Садись же, хозяин!

Сел Чуркин с князем в карету, поехал в Заборье обедать. А за обедом Чуркина на перво место посадили, и князь Алексей Юрьич сам ему прислуживал: за стулом у него с тарелкой стоял, *хозяином* все время называл: «Я, говорит, у Трифона Егорыча в услужении».

А пороть не порол. На прощанье еще жалованьем удостоил: от любимой борзой суки Прозерпинки кобелька да сучонку на племя подарил.

С той поры Чуркин на ярмонку ни ногой.

А кто с князем Алексеем Юрьичем смело да умно поступал, того любил. Раз один купчина прогневал его: отобедавши в Заборье, не пожелал с барскими барынями да с деревенскими девками в саду повеселиться, спешным делом отговаривался, получение-де предвидится от сибирских купцов. Соснувши маленько после обеда, узнал князь, что купчина его приказу сделался ослушен: тихонько на ярмонку съехал.

– Ну, говорит, черт с ним: была бы честь предложена, от убытка бог избавит. Пороть не стану, а до морды доберусь – не пеняй.

И попадись он князю на другой день за балаганами, а тут песок сыпучий, за песком озеро, дно ровное да покатое, от берега мелко, а на середке дна не достанешь; зато ни ям, ни уступов нет ни единого. Завидевши купчину, князь остановился, пальцем манит его к себе: поди-ка, мол, сюда. Купчина смекнул, зачем зовет, нейдет, да, стоя саженях в двадцати от князя, говорит ему:

– Нет, ваше сиятельство, ты сам ко мне поди, а я не пойду для того, что ни зуботрещин твоих, ни кошек, ни плетей не желаю.

– Ах ты, аршинник этакой! – закричал князь Алексей Юрьич да к нему.

А купчина – парень не промах, задал к озеру тягача, а песок тут сыпучий, ноги так и вязнут. Князь Алексей Юрьич вдогонку, распалился весь, запыхался, все бежит, сердце-то уж очень взяло его. Вязнут ноги у купчины, вязнут и у князя. Вот купчина догадался: оглянулся назад, видит, князь шагах во ста от него. «Эх, думает, успею»; сел, сапоги долой, да босиком дальше пустился: бежать-то ему так вольготнее стало. Видит князь, купчина умно поступил, сам сел, тоже сапоги долой, да босиком дальше. Купчина к озеру, князь тоже. Забрел купчина по горло, а князь по грудь, остановился да перстиком купчину и манит.

– Подь, говорит, ко мне, разделаться с тобой хочу.

А купчина в ответ тоже пальцем манит да свое говорит:

– Нет, ваше сиятельство, ты ко мне подь, а уж я не пойду.

– Да ведь ты, подлец, утопишь?

– Там уж, что бог даст, а к тебе не пойду.

Перекорялись-перекорялись, а друг к дружке не пошли. Хоть время стояло и жаркое, а оба, стоя в воде, продрогли.

– Ну, – говорит князь, – люблю молодца за обычай, едем в Заборье обедать, зло твое я забыл.

– Врешь, ваше сиятельство, – говорит купчина, – обманешь, выпорешь.

– Пальцем не трону, – отвечал князь Алексей Юрьич: – ей-богу, пальцем не трону.

– Обманешь, ваше сиятельство.

– Ей-богу, не обману, право, не обману.

– А ну перекрестись!

И стал князь, стоя в воде, креститься и всеми святыми себя заклинать, что никакого дурна над купчиной не учинит. Дал купчина веру, поехал в Заборье.

Не то чтобы выдрать – приятелем сделал его, дом каменный в Москве подарил. Бывало, что есть – вместе, чего нет – пополам. Двух дочерей замуж повыдал; в посаженых отцах у них был, сына вывел в чины; после в Зимогорске вице-губернатором был, от соли да от вина страх как нажился…

– А ведь утопил бы ты меня, Конон Фаддеич, как бы я к тебе тогда подошел? – скажет, бывало, князь.

– А как знать, чего не знать, – отвечает купчина: – что бы бог указал, то бы я над тобой, ваше сиятельство, и сделал.

И захохочут оба, да после того и почнут целоваться.

И всегда и во всем так бывало: кто удалую штуку удерет, либо тыкнет князю прямо в нос, не боюсь-де тебя, того жаловал и в чести держал. Да вот какой случай был.

В летнюю пору после обеда садился, бывало, он в кресла подремать маленько. Кресла ставили на балконе, задние ножки в комнате, а передние на балконе, так на пороге и дремлет. И тогда по всему Заборью и на Волге на всех судах никто пикнуть не смей, не то на конюшню. Флаг над домом особый выкидывали, знали бы все, что князь Алексей Юрьич почивать изволит.

Дремлет он этак раз, а барчонок из мелкопоместных «знакомцев», что из милости на кухне проживал, тихонько возле дома пробирается. А в нижнем жилье, под самым тем балконом, жили барышни-приживалки, вольные дворянки, и деревни свои у них были, да плохонькие, оттого в Заборье на княжеских харчах и проживали. Барчонок под окна. Говорить не смеет, а турусы на колесах барышням подпустить охота, стал руками маячить, а сам ни гугу. Барышням невтерпеж: похохотать охота, да гроза наверху, не смеют. Машут барчонку платочками: уйди, дескать, пострел, до греха. А барчонок маячил-маячил, да как во все горло заголосит: *«Не одна-то во поле дороженька»*. Заорал да и драла. Вершники, что у крыльца стояли, его не заприметили, сами тоже вздремнули; час был полуденный. Так барчонок и скрылся.

Пробудился князь. Грозен и мрачен, руки у него так и дергает.

– Кто «Дороженьку» пел? – спрашивает.

Побежали сломя голову во все стороны. Ищут.

А барчонок себе на уме, семью собаками его не сыщешь. Улегся на сеннике, спит тоже будто. Кроме барышень никто его не приметил, а те, известное дело, не выдадут.

– Кто «Дороженьку» пел? – кричит князь Алексей Юрьич.

Бегают холопи, не могут найти.

– Кто «Дороженьку» пел? – кричит князь. На крыльцо вышел, арапник в руке.

Не знают, что доложить, бегают, рыщут, дознаться не могут.

– Кто «Дороженьку» пел? – на все село кричит князь Алексей Юрьич. – Сейчас передо мною поставить, не то всех запорю!

Не могут найти. Рычит князь, словно медведь на рогатине. Ушел в дом, зеркала звенят, столы трещат.

Старший дворецкий и холопи все кланяться стали Ваське-песеннику: «возьми на себя, виноватого сыскать не можем».

Васька себе на уме, уперся. «Спина-то, говорит, моя, не ваша, да еще чего доброго, пожалуй, и в пруд угодить». Не желает.

Стали ему кучиться со слезами: «дворецкий, мол, тебя выручит, а на всякий случай вот тебе десять Рублев деньгами». А десять рублей в старые годы деньги были большие.

Почесал в затылке песенник: и спины жаль, и с деньгами расстаться неохота. «Ну, говорит, так и быть, идем. Только смотри же, коль не из своих рук станет пороть, так вы, черти, полегче».

А тем временем князь распалился без меры.

– Всему холопству, кричит, по тысяче кошек, все шляхетство плетьми задеру. Да спросить у барышень, они должны знать… Не скажут, юбки подыму, розгачами угощу!

Страх смертный. Пикнуть не смеет никто, дышать боятся.

– Кошек! – зарычал. Зычный голос по Заборью раздался, и всяка жива душа затрепетала.

– Ведут, ведут, – кричат комнатные казачки, завидев дворецкого, а за ним гайдуков: волочили они по земле по рукам по ногам связанного Ваську-песен-ника.

Сел князь на софу суд и расправу чинить. Подвели Ваську. Сами ни живы, ни мертвы.

– Ты «Дороженьку» пел? – спросил у песенника князь Алексей Юрьич.

– Виноват, ваше сиятельство, – отвечал Васька-песенник.

Замолк князь. Помолчал маленько и молвил:

– Славный голос у тебя… Десять рублей ему да кафтан с позументом!

IV
Именины

А именины справлял князь на пятый день Покрова. Пиры бывали великие; недели на две либо на три все окружное шляхетство съезжалось в Заборье, губернатор из Зимогорска, воеводы провинциальные, генерал, что с драгунскими полками в Жулебине стоял, много и других чиновных. Из Москвы наезжали, иной раз из Питера. Всякому лестно было князя Алексея Юрьича с днем ангела поздравить.

Каждому своя комната, кому побольше, кому поменьше: неслужащему шляхетству, смотря по роду; чиновным, глядя по чину. Губернатору флигель особый, драгунскому генералу с воеводами другой, по прочим флигелям большие господа: кому три горницы, кому две, кому одна, а где по два, по три гостя в одной, глядя, кто каков родом. А наезжее мелкопоместное шляхетство и приказных по крестьянским дворам разводили, а которых в застольную, в ткацкую, в столярную. Там и спят вповалку.

С вечера накануне именин всенощну служат. Тут всем приказ: у службы быть неотменно. Князь сам шестопсалмие читает и синаксарь. Знал он церковный устав не хуже монастырского канонарха, к службе божией был не леностей, к дому господню радение имел большое. Сколько по церквам иконостасов наделал, сколько колоколов вылил, в самом Заборье три каменные церкви соорудил.

Ужина не бывало, чтоб грехом до утра не забражничаться, обедни не проспать бы. Подавали каждому есть-пить в своем месте, а хмельного ставили число невеликое.

На другой день, после обедни, все, бывало, поздравлять пойдут. Сядет князь Алексей Юрьич во всем наряде и в кавалерии на софе, в большой гостиной, по праву руку губернатор, по левую – княгиня Марфа Петровна. Большие господа, с ангелом князя поздравивши, тоже в гостиной рассядутся: по одну сторону мужчины, по другую – женский пол. А садились по чинам и по роду.

Пиита с виршами придет – нарочно такого для праздников держали. Звали Семеном Титычем, был он из поповского роду, а стихотворному делу на Москве обучался. В первый же год, как приехал князь Алексей Юрьич на житье в Заборье, нанял его. Привезли его из Москвы вместе с карликом – тоже редкостный был человек: ростом с восьмигодового мальчишку, не больше. Жил пиита на всем на готовом, особая горница ему была, а дело только в том и состояло, чтобы к каждому торжеству вирши написать и пастораль сделать.

И каждый раз, перед делом, недели на три запирали его ради трезвости на голубятню; бывало, как только вытрезвят, так и пойдет он вирши писать да пастораль строить.

Придет Титыч в гостиную, тоже напудренный, в шелковом кафтане, почнет поздравительные вирши сказывать. Гости слушают молча. А когда отчитает, подаст те вирши князю на бумаге, князь ручку даст ему поцеловать, денег пожалует и велит напоить Титыча до положения риз, только бы наблюдали, чтобы богу душу не отдал, для того, что человек был нужный, а пил без рассуждения. В старые годы пиитов было число невеликое, найти было их трудновато, оттого и берег князь Титыча. Таков был приказ: пииту беречь всякими мерами и ради потехи вреда ему не чинить.

Раз одного знакомца из благородного шляхетства так взодрал князь за Титыча, что небу стало жарко. Похрыснев Иван Тихоныч – было у него дворов тридцать своих крестьян, да разбежались, оттого и пошел на княжие харчи – с Титычем был приятель закадычный: пили, гуляли сообща. Насмотрелся Иван Тихоныч, каковы в Заборье забавы. И холопи и шляхетство так промеж себя забавлялись: кого на медведя насунут, кому подошвы медом намажут да дадут козлу лизать; козел-от лижет, а человеку щекотно, хохочет до тех пор, как глаза под лоб уйдут и дышать еле может. Насмотревшись таких потех, Иван Тихоныч подметил раз друга своего

во пьяном образе лежаща и сшутил с ним шуточку, да и шутку-то не больно обидную: ежа за пазуху ему посадил. Вскочил пиита, заорал благим матом, спьяну да спросонок не может понять, что такое у него под рубахой возится да колет. Ровно угорелый на двор выбежал, «караул! режут!» – кричит. На грех сам князь туг случись; узнав причину, много смеяться изволил, а Ивана Тихоныча выпорол и целый день ежа за пазухой носить приказал. «Ты, говорит, знай, с кем шутить: Титыч, говорит, тебе не пара: он человек ученый, а ты свинья». Вот как ученых людей князь почитал.

А как в день княжих именин Семен Титыч из гостиной выйдет, неважные господа и знакомцы пойдут поздравлять, также и приказный народ. Подходят по чинам, и всякому, бывало, князь Алексей Юрьич жалует ручку свою целовать. Кто поцеловал, тот на галерею, а там от водок да от закусок столы ломятся.

Чай станут подавать, но только большим господам. В стары-то годы чай бывал за диковину, и пить-то его умели только большого рангу господа; мелочь не знала, как и взяться… Давали иной раз мелкопоместному шляхетству аль приказного чина людям, ради потехи, позабавиться бы большим гостям, глядя, как тот с непривычки глотку станет жечь да рожи корчит. Шутов, бывало, призовут, передражнивать барина-то прикажут, чай у него отнимать, кипятком его ошпарить. Шуты с барином подерутся, обварят его, на пол повалят да мукой обсыплют. А как назабавится князь, в шею всех и велит вытолкать.

Пьют, бывало, чай в гостиной: губернатор почнет ведомости сказывать, что в курантах вычитал, аль из Питера что ему отписывали. Московские гости со своими ведомостями. Так и толкуют час-другой времени. Приезжал частенько на именины генерал-поручик Матвей Михайлыч Ситкин, – родня князю-то был; при дворе больше находился, к Разумовскому бывал вхож.

– Слышно, – говорит он однажды, – про тебя, князь Алексей, что матушка-государыня хочет тебя в цесарскую землю к венгерской королеве резидентом послать.

– И до меня такие ведомости, сиятельнейший князь, доходили, – промолвил губернатор, – а когда Матвей Михайлович из самого дворца матушки-государыни подлинные ведомости привез, значит, оне вероятия достойны.

И стали все поздравлять князя Алексея Юрьича. А у него лицо так и просияло. Помолчал он и молвил:

– Не еду.

– В уме ль ты, князь, али рехнулся? – ужаснулся даже генерал-поручик, родня-то.

– Сказано – не поеду, так значит и не поеду, – молвил князь Алексей Юрьич. – Пускай меня матушка-государыня смертью казнит, пускай меня в дальни сибирски города сошлет, а в цесарскую землю я ни ногой.

А говорил он так ради того, что знал роденьку своего Матвея Михайлыча: любил генерал красным словцом речь поукрасить, любил и похвастаться перед людьми: я-де при государыне нахожусь, все великие и тайные дела до тонкости знаю.

– Да что ты, что ты? – стал он приставать к князю. – Есть ли резон человеку от фортуны отказываться?

Губернатор стал допытываться, драгунский генерал, воевода, из больших господ два-три человека. Другие не посмели.

– Как же мне возможно ехать в цесарскую землю? – молвил наконец князь Алексей Юрьич. – Без меня лысый черт всех русаков здесь затравит, а об красном звере лет пять после того и помину не будет.

А лысым чертом изволил звать Ивана Сергеича Опарина. Барин был большой, по соседству с Заборьем вотчина у него в две тысячи душ была, в старые годы после князя Алексея Юрьича по всей губернии был первый человек.

– Не взыщи, князь Алексей, – подхватил Иван Сергеич, – всех перетравлю. Ты там у венгерской королевы резидируй, а я тебе мышонка не покину.

Смеяться изволил князь. И все большие господа смеялись, а в других комнатах и на галерее знакомцы, шляхетство мелкопоместное и приказные тоже на тот смех хохотали, хоть к чему тот смех – и не ведали.

– А ты лучше скажи-ка мне, честный отче, подобает ли нам вот это китайское зелье пить? Греха тут нет ли? – спросил князь Алексей Юрьич.

А это он тому же Ивану Сергеичу молвил. Звал его лысым чертом потому, что голова у него была наподобие рыбьего пузыря, а честным отче потому, что в старых уставах Опарин был сведущ. Хоть бороду и брил, а париков не надевал и табаку не курил, поставляя в том грех великий. Всю жизнь пробыл в нетях[17], пятидесяти лет недорослем писался, и хоть при Петре Великом не раз был за то батогами бит нещадно, но обычай свой снес – на службу в Питер не явился. Спервоначалу и немецкого платья надеть на себя не хотел, да супруга обрядила. Был женат на богатой, супруга на ассамблеях упражнялась, нраву была сварливого, родня у ней знатная, потому мужу бить себя не соизволила; и он у нее из рук смотрел. Хоть через великую силу, бородой и охабнем супружеской любви поступился. А родитель Ивана Сергеича, в прежни годы, с князьями Мышецкими заодно был, у раскольщиков в Выгорецком ските и жизнь скончал.

– Нет ли, – говорит ему князь Алексей Юрьич, – в этом пойле греха? Не опоганили ль мы с тобою, честный отче, душ своих?

– А что ж в чаю поганого? – отвечает Иван Сергеич. – Не табачище!.. Об чае и в Соловецкой челобитной не обозначено, стало быть, погани в нем нет никакой.

– А видишьли, честный отче, вычел я в одной французской книге, что когда в Хинской земле чай собирают, так языческие тамошние жрецы богомерзкое свое служение на полях совершают и водой идоло-жертвенной чай на корню кропят. А по уставу идоло-жертвенное употреблять не подобает. Поведай же нам, честный отче, опоганили мы свои души аль нет?

– А может статься, на тот чай, что мы у тебя пьем, богомерзкая-то вода и не попала? – молвил Иван Сергеич, накрывая чашку. – Вот тебе и сказ.

– Ох, ты, ответчик! – крикнул князь Алексей Юрьич, немножко прогневавшись. – Все-то у тебя ответы. Сказывают, что смолоду ты немало и раскольничьих ответов Неофиту писал… Правда, что ли? – молвил князь, подмигнув губернатору. – Сколько, лысый черт, на твою долю поморских ответов пришлось написать? Сочти-ка да скажи нам.

– Тебе бы, князь Алексей, цыплят по осени считать, а такого дела не ворошить. Не при тебе оно писано.

– Смотри, лысый черт, ты у меня молчи. Не то господина губернатора и владыку святого стану просить, чтоб тебя с раскольщиками в двойной оклад записали. Пощеголяешь ты у меня с желтым козырем да со значком на вороту.

Хоть и разгневался маленько князь Алексей Юрьич, но Иван Сергеич барин был большой, попросту с ним разделаться невозможно, сам сдачи даст, у самого во дворе шестьсот человек, а кошки да плети не хуже заборских.

На счастье, под самое то слово чихнул губернатор. Встали и поклон отдали. Привстал и князь Алексей Юрьич. И все в один голос сказали:

– Салфет вашей милости![18]

А губернатор кланяется да приговаривает:

– Красота вашей чести!

---

[17] Нет я м и назывались не явившиеся на службу дворяне.

[18] При дворе говорили салют (salut) вашей милости, в провинции салют переделали всалфет. В глухих городах с а л ф е т до сих пор водится.

На ту пору дверь распахнулась, четыре лакея, каждый в сажень ростом, закуску на подносах внесли и на столы поставили. Были тут сельди голландские, сыр немецкий, икра яикская с лимоном, икра стерляжья с перцем, балык донской, колбасы заморские, семга архангелогородская, ветчина вестфальская, сиги в уксусе из Питера, грибы отварные, огурцы подновские, рыжики вятские, пироги подового дела, оладьи и пряженцы с яйцами. А в графинах водка золотая, водка анисовая, водка зорная, водка кардамонная, водка тминная, – а все своего завода.

Закусывают час либо два, покамест все графины не опорожнят, все тарелки не очистят, тогда обедать пойдут.

А в столовой, на одном конце княгиня Марфа Петровна с барынями, на другом князь Алексей Юрьич с большими гостями. С правой руки губернатору место, с левой – генерал-поручику, за ними прочие, по роду и чинам. И всяк свое место знай, выше старшего не смей залезать, не то шутам велят стул из-под того выдернуть, аль прикажут лакеям кушаньем его обносить. Кто помельче, те на галерее едят. Там в именины человек пятьсот либо шестьсот обедывало, а в столовой человек восемьдесят либо сто – не больше.

Подле князя Алексея Юрьича с одной стороны двухгодовалого ручного медведя посадят, а с другой – юродивый Спиря на полу с чашкой сядет: босой, грязный, лохматый, в одной рубахе; в чашку ему всякого кушанья князь набросает, и перцу, и горчицы, и вина, и квасу, всего туда накладет, а Спиря ест с прибаутками. Мишку тоже из своих рук князь кормил, а после водкой, бывало, напоит его до того, что зверь и ходить не может.

В столовой на серебре подавали, а для князя, для княгини и для генеральства ставились золотые приборы. За каждым стулом по два лакея, по углам шуты, немые, карлики и калмыки – все подачек ждут и промеж себя дерутся да ругаются.

Уху, бывало, в серебряной лохани подадут – стерляди такие, какие в нонешни годы и не ловятся: от глаза до пера два аршина и больше. Осетры – чудо морское. А там еще зад быка принесут, да ветчины окорока три-четыре, да баранов штуки три, а кур, индеек, гусей, уток, рябков, куропаток, зайцев – всей этой мелкоты без счету. Всех кушаний перемен тридцать и больше, а после каждой перемены чарки в ходе. Подавали вина ренские, аликантское, эрмитаж и разные другие, а больше домашние наливки и меда ставленные. В стары годы и такие господа, как князь Алексей Юрьич, заморских вин кушали понемногу, пили больше водку да наливки домашние и меды. Дорогие вина только в праздники подавались, и то не всем: подавать такие вина на галерею в заведении не было. А шампанское вино да венгерское только и пивали в именины…

Под конец обеда, бывало, станут заздравную пить. Пили ее в столовой шампанским, в галерее – вишневым медом… Начнут князя с ангелом поздравлять, «ура» ему закричат, певчие «многие лета» запоют, музыка грянет, трубы затрубят, на угоре из пушек палить зачнут, шуты вкруг князя кувыркаются, карлики пищат, немые мычат по-своему, большие господа за столом пойдут на счастье имениннику посуду бить, а медведь ревет, на задние лапы поднявшись.

Встанут из-за стола, княгиня с барынями на свою половину пойдет, князь Алексей Юрьич с большими господами в гостиную. Сядут. Оглядится князь, все ли гости уселись, лишних нет ли, помолчит маленько да, глядя на старшего дворецкого, вполголоса промолвит ему: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь».

Дворецкий парень был наметанный, каждый взгляд князя понимал. Тотчас, бывало, смекнет, в чем дело. Было у князя в подвале старое венгерское – вино дорогое, страх какое дорогое! Когда еще князь Алексей Юрьич при государыне в Питере проживал, водил он дружбу с цесарским резидентом, и тот цесарский резидент из своего королевства бочек с пять того вина ему по дружбе вывез. Пахло ржаным хлебом, оттого князь и звал его хлебом насущным. А подавали то вино изредка.

Принесут гайдуки стопки серебряные, старший дворецкий разольет хлеб насущный. Возьмет князь Алексей Юрьич стопку, привстанет, к губернатору обернется: «будьте здо-

ровы», – скажет и хлебнет хлеба насущного. Потом опять привстанет, генерал-поручика тем же манером поздравствует и опять хлебнет хлеба насущного. И прочих также, все по роду и по чину. А кого князь здравствует, тому и прочие, привставая, кланяются и хлеба насущного прихлебывают. А певчие поют многолетие, в галерее «ура» кричат, на угоре из пушек палят, трубы, рога, музыка. И питаются, бывало, хлебом насущным, когда час времени, когда и больше.

– Ну, – скажет, вставая, князь Алексей Юрьич, – бог напитал, никто не видал, а кто видел, тот не обидел. Не пора ль, господа, к Храповицкому? И птице вольной и зверю лесному, не токмо человеку разумному, присудил господь отдыхать в час полуденный.

И пойдут по своим местам, а князю Алексею Юрьичу на балконе кресло уж поставлено. И станет по Заборью тишина. Только храп слышно… отдыхают…

Соснув маленько, зачнут к вечернему балу снаряжаться, и весь дом станет вверх дном. Господа, барыни и барышни сидят в пудрамантах, девушки да камердинеры так и снуют: кто с робой, кто с утюгом, кто с фижмами, кто с камзолом глазетовым. В одном месте пряжки к башмакам прилаживают, в другом барышню две девки что есть мочи стягивают, в третьем барыни мушки на лицо себе лепят… К семи часам все готовы и соберутся в дом. А там уж восковых свечей зажжены тысячи, перед домом и в саду плошки, по горе смоляные бочки горят, а за Волгой, на том берегу, костры разложены.

Выйдет князь Алексей Юрьич с княгиней Марфой Петровной во всем параде, и грянет музыка. Полонез заиграют: губернатор, в зеленом кафтане на красном стамеде, в алом камзоле, в большом парике, с кавалерией через плечо, к княгине подлетит, реверансы друг другу сделают и пойдут. После того другие господа, кто барыню, кто барышню поднимут и пойдут водить полонез по залам и галереям, и водят немалое время. А барынь поднимают и в полонез водят также по роду и по чинам. Находившись досыта, в боковую галерею пойдут «пастораль» смотреть. Там подмостки с декорацией сделаны, и как гости войдут, музыканты итальянские кантаты играть зачнут, и играют, покамест гости по местам рассядутся.

Тут занавеска на подмостках поднимется, сбоку выйдет Дуняшка, ткача Егора дочь, красавица была первая по Заборью. Волосы наверх подобраны, напудрены, цветами изукрашены, на щеках мушки налеплены, сама в помпадуре на фижмах, в руке посох пастушечий с алыми и голубыми лентами. Станет князя виршами поздравлять, а писал те вирши Семен Титыч. И когда Дуня отчитает, Параша подойдет, псаря Данилы дочь.

Эта пастушком наряжена: в пудре, в штанах и в камзоле. И станут Параша с Дунькой виршами про любовь да про овечек разговаривать, сядут рядком и обнимутся… Недели по четыре девок, бывало, тем виршам с голосу Семен Титыч учил – были неграмотны. Долго, бывало, маются, сердечные, да как раз пяток их для понятия выдерут, выучат твердо.

Андрюшку-поваренка сверху на веревках спустят. Мальчишка был бойкий и проворный, – грамоте самоучкой обучился. Бога Феба он представлял, в алом кафтане, в голубых штанах с золотыми блестками. В руке доска прорезная, золотой бумагой оклеена, прозывается лирой, вкруг головы у Андрюшки золочены проволоки натыканы, вроде сияния. С Андрюшкой девять девок на веревках, бывало, спустят: напудрены все, в белых робронах, у каждой в руках нужная вещь, у одной скрипка, у другой святочная харя, у третьей зрительна трубка. Под музыку стихи пропоют, князю венок подадут, а плели тот венок в оранжерее из лаврового дерева.

И такой пасторалью все утешены бывали. Велит иной раз князь Алексей Юрьич позвать к себе Семена Титыча, чтоб из своих княжих рук подарок ему пожаловать, но никогда его привести было невозможно, каждый раз не годился и в своей горнице за замком на привязи сидел. Неспокоен, царство ему небесное, во хмелю бывал.

Опять полонез заиграют, господа в большую залу пойдут. Тут Матвея Михайлыча – генерал-поручика – маршалом сделают, княгиня Марфа Петровна букет цветов пожаловать ему изволит. Приколет он те цветы к кафтану и зачнет танцами распоряжаться. Сперва менуэт

танцуют, кланяются, реверансы делают, к сердцу руки прижимают, на разлет ими отмахивают, а барышни приседают, на сторонку перегибаются и веер тихонько поднимают. После менуэта манимаску начнут, а там матрадур, гавот и разные другие танцы. Чуть не до полночи, бывало, промаются.

Вперемежку танцев питье подавали: воду брусничную, грушевку, сливянку, квас яблочный, квас малиновый, питье миндальное. Заедки всякие, бывало, разносили: конфеты, марципаны, цукаты, сахары зеренчатые, варенье инбирное индейского дела; из овощей – виноград, яблоки да разные овощи полосами: полоса дынная, полоса арбузная да ананасная полоска невеликая. Дынную да арбузную всем подают, ананасную не всякому, потому что вещь редкостная, не всякому гостю по губам придется.

А в других комнатах столы расставлены, на них в фаро да в квинтич играют; червонцы из рук в руки так и переходят, а выигрывает, бывало, завсегда больше всех губернатор. Другие кости мечут, в шахматы играют – кому что больше с руки. А меж игрой пунши да взварцы пьют, а лакеи то и дело водку да закуски разносят.

Вечерний стол бывал не великий: кушаньев десять либо двадцать – не больше, зато напитков вдоволь. Пьют, друг от дружки не отставая, кто откажется, тому князь прикажет вино на голову лить. А как после ужина барыни да барышни за княгиней уйдут, а потом и из господ кто чином помельче аль годами помоложе по своим местам разойдутся, отправится князь Алексей Юрьич в павильон и с собой гостей человек пятнадцать возьмет. И пойдет там кутеж на всю ночь до утра. Только что войдут туда князь Алексей Юрьич, и кафтан и камзол долой, гости тоже. Спервоначалу кипрским вином серебряную дедовскую ендову нальют, «чарочку» запоют и пустят ендову вкруговую. Не то попарно, как гребцы в лодке, на пол усядутся. «Вниз по матушке по Волге» затянут и орут себе что есть мочи. А запевалой сам князь Алексей Юрьич.

– Нет, скучно так, ребята, – скажет, бывало, – богинь, богинь сюда с Парнаса!

И влетят богини: Дуняша, Параша, Настенька, Машенька, Грушенька, девять сестер, что в пасторали были, да еще сколько нужно на придачу по числу гостей. Все разряжены: которая в пудре и роброне, ровно барышня, которая в сарафане, а больше так, как в павильонах на стенах писано.

Красавицы-то были какие! Хоть бы Дуню взять. Беленькая, крепонькая, черные глазенки в душу так и смотрят. Пойдет плясать: старик растает, на нее глядя! Бубен в руку; вверх его над головой вскинет, обведет всех глазами, топнет ножкой да вольной птичкой так и запорхает, а сама вся, как змейка, изгибается, от сердечной истомы щеки пышут, глазки горят, а ротик раскрыт у голубушки… Настенька опять – девочка славная, кровь с молоком, голосок соловьиный. Войдет, в сарафане алого бархату, в кружевных рукавах, на голове золотая повязка, коса у Настеньки по колена, – на кого ни взглянет, рублем подарит, слово кому скажет, мурашки у того по всему телу забегают… Или Груша опять!.. Машенька!.. На подбор были собраны красавицы, а выбирались из целой вотчины. Все-то состарелось, а состарившись примерло!..

Заря в небе зарумянится, а в павильоне песни, пляс да попойка. Воевода, Матвей Михайлыч, драгунский, Иван Сергеич, губернатор и другие большие господа, – кто пляшет, кто поет, кто чару пьет, кто с богиней в уголку сидит… Сам князь Алексей Юрьич напоследок с Дуняшей казачка пойдет.

– Эй, вы, римляне! – крикнет под конец. – Похищай сабинянок, собаки!

Схватит каждый гость по девочке: кто посильней, тот на плечо красоточку взвалит, а кто в охапку ее… А князь Алексей Юрьич станет средь комнату, да ту, что приглянулась, перстиком к себе и поманит… И разойдутся.

Тем именины и кончатся.

V
В монастыре

Охоту больше на красного зверя князь Заборовский любил. Обложили медведя – готов на край света скакать. Леса были большие, лесничих в помине еще не было, оттого не бывало и порубок; в лесной гущине всякого зверя много водилось. Редкую зиму двух десятков медведей не поднимали.

Только станет зима, человек сорок пошлют берлоги искать. Опричь того мужики по всей окружности знали, какое жалованье за медведя князь Алексей Юрьич дает, оттого, бывало, каждый, кто про медведя ни проведает, вести приносит к нему. А сохрани, бывало, господи, ежели кто без него осмелится медведя поднять! Не родись на свет тот человек!..

Сам любил мишку повалить. Таков приказ у него был: «бей медведя, коли драть тебя станет аль под себя подберет, – до тех пор тронуть его не моги».

Из ружья редко бивал, не жаловал князь ружейной охоты, больше все с ножом да с рогатиной. – «Надобно ж, говорит, бывало, Михаиле Иванычу, господину Топтыгину, перед смертным часом дать позабавиться: что толку пулей его свалить, из ружья бей сороку, бей ворону, а с мишенькой весело силкой помериться!»

Сорокового бил из ружья. Сороковой медведь – дело не простое, редкому счастливо сходит он с рук – любит сороковой человека без костяной шапки оставить.

А всего медведей сто, коль не больше, повалил князь Алексей Юрьич в приволжских краях, и все ножом да рогатиной. Не раз и мишка топтал его. Раз бедро чуть не выел совсем, в другой, подобрав под себя, так зачал ломать, что князь закричал неблагим матом, и как медведя порешили, так князя чуть живого подняли и до саней на шубе несли. Шесть недель хворал, думали, жизнь покончит, но бог помиловал.

Берлогу отыщут, зверя обложат. Станет князь против выхода. Правая рука ремнем окручена, ножик в ней, в левой – рогатина. В стороне станут охотники, кто с ружьем, кто с рогатиной. Поднимут мишку, полезет косматый старец из затвора, а снег-от у него над головой так столбом и летит.

И примет князь лесного боярина по-холопски, рогатиной припрет его, куда следует, покрепче. Тот разозлится да на него, а князь сунет ему руку в раскрытую пасть да там ножом и пойдет работать. Тут-то вот любо, бывало, посмотреть на князя Алексея Юрьича – богатырь, прямой богатырь!..

А по осени, как в отъезжее поле соберутся, недель по шести, бывало, полюют, провинции по две объезжали. Выедет князь Алексей Юрьич, как солнце пресветлое: четыреста при нем псарей с борзыми, ста полтора с гончими, знакомцев да мелкопоместных человек восемьдесят, а большие господа – те со своими охотами. Один Иван Сергеевич Опарин приедет, бывало, так свор восемьдесят с собой приведет… Народу видимо-невидимо. Двинутся, в рога тотчас, и такой трубный глас пойдет, что просто ума помраченье. А за охотой на подводах припасы везут, повара там, конюхи, шуты, девки, музыканты, арапы, калмыки и другой народ всякого звания!

Дадут поле – тотчас на привал. А у каждого человека фляжка с водкой через плечо, потому к привалу-то все маленько и наготове. Разложат на поле костры, пойдет стряпня рукава стряхня, а средь поля шатер раскинут, возле шатра бочонок с водкой, ведер в десять.

– С полем! – крикнет князь Алексей Юрьич, сядет верхом на бочонок, нацедит ковш, выпьет, сколько душа возьмет, да из того ж ковша и других почнет угощать, а сам все на бочонке верхом.

– С полем, честной отче! – крикнет Ивану Сергеичу. Подойдет Иван Сергеич, князь ему ковшик подаст.

– Будь здоров, князь Алексей, с чады, с домочадцы и со всеми твоими псами борзыми и гончими, – молвит Иван Сергеич и выпьет.

– Целуй меня, лысый черт.

И поцелуются. А князь все на бочонке верхом. По одному каждого барина к себе подзывает, с полем поздравляет, из ковша водкой поит и с каждым целуется. После больших господ мелкопоместное шляхетство подзывает, потом знакомцев, что у него на харчах проживали.

А для подлого народу в сторонке сорокоуша готова. Народу немало, а винцо всякому противно, как нищему гривна: по малом времени бочку опростают.

Ковры на поляне расстелют, господа обедать на них усядутся, князь Алексей Юрьич в середке. Сначала о поле речь ведут, каждый собакой своей похваляется, об лошадях спорят, про прежние случаи рассказывают. Один хорошо сморозит, другой лучше того, а как князь начнет, так всех за пояс заткнет… Иначе и быть нельзя; испокон веку заведено, что самый праведный человек на охоте что ни скажет, то соврет.

– Нет, – молвил князь Алексей Юрьич, – вот у меня лошадь была, так уж конь. Аргамак персидский, настоящий персидский. Кабинет-министр Волынский, когда еще в Астрахани губернатором был, в презент мне прислал. Видел ты у меня его, честный отче?

– А какой же это аргамак? Что-то не помню я у тебя, князь Алексей, такого.

– Э! нашел я спросить кого, точно не знаю, что ты до седых волос в недорослях состоишь и Питера, как черт ладану, боишься… Так вот аргамак был. Каковы были кони у герцога курляндского, и у того такого аргамака не бывало. Приставал не один раз курляндчик ко мне, подари да подари ему аргамака, а не то бери за него, сколь хочешь.

– Что же, продали, князь? – спросил Суматев, Сергей Осипыч, тоже барин большой.

– Эх, ты, голова с мозгом! Барышник, что ли, я конский, аль цыган какой, что стану лошадьми торговать? В курляндском герцогстве тридцать четыре мызы за аргамака мне владеющий герцог давал, да я и то не уступил. А когда регентом стал, фельдмаршалом хотел меня за аргамака того сделать, – я не отдал.

– Ну уж и фельдмаршалом! – усмехнулся Иван Сергеич.

– Да ты молчи, лысый черт, коли тебя не спрашивают. Знаешь, что во многоглаголании несть спасения, потому и молчи… Просидел век свой в деревне, как таракан за печью, так все тебе в диковину… Что за невидаль такая фельдмаршал?.. Не бог знает что!.. Захотел бы фельдмаршалом быть, двадцать бы раз был. Не хочу да и все.

– Полно-ка ты, князь Алексей. Ну что городишь? Слушать даже тошно… Ну как бы ты стал полки-то водить, когда ни в единой баталии не был.

– Ври да не завирайся, честный отче! – крикнет на то князь Алексей Юрьич. – Как я в баталиях не бывал? А Очаков-от кто взял? А при Гданске кто викторию получил?.. Небось, Миних, по-твоему? Как же!.. Взять бы ему без меня две коклюшки с половиной!.. Принял только на себя, потому что хитер немец, везде умеет пролезть… А я человек простой, вязаться с ним не захотел. Ну, думаю себе, бог с тобой, обидел ты меня, да ведь господь терпел и нам повелел… И отлились же волку овечьи слезки! Теперь проклятый немец в Пелыме с ледяными сосульками воюет, а мы вот гуляем да красного зверя травим!.. Да!

И подвернись на грех Постромкин, Петр Филипыч, из мелкопоместных. Служил в полках, за ранами уволен от службы. Вступись он за Миниха – под командой у него прежде служил.

Как вскочит князь Алексей Юрьич, пена у рта.

– Ах, ты, шельмец! – закричал. – Смеешь рот поганый распускать… Эй, вы!.. Вздуть его!

Выпил ли чересчур Петр Филипыч, азарт ли такой нашел на него, только как кинется он на князя, цап за горло, под себя, да и ну валять на обе корки.

– Смеешь ты, говорит, честного офицера шельмецом обзывать!.. Похвальбишка ты паскудный!.. Да я сам, говорит, тебя вздую.

И вздул.

А князь:

– Полно, полно, Петр Филипыч… Больно ведь!.. Перестань… Лучше выпьем!.. Я ведь пошутил, ей-богу, пошутил.

И с той поры приятели сделались. Водой не разольешь.

Наедут, бывало, на вотчину Петра Алексеича Муранского. Барин богатый, дом полная чаша, но был человек невеселый, в болезни да в немощах все находился. А с молоду «скосырем» слыл и, живучи в Питере, на ассамблеях и банкетах так шпынял[19] больших господ, барынь и барышень, что все речей его пуще огня и чумы боялись. С Минихом под туркой был, под Очаковом его искалечили, негоден на службу стал и отпросился на покой. Приехал в деревню и ровно переродился. Был одинок, думали – женится, а он в святость пустился: духовные книги зачал читать, и хоть не монах, а жизнь не хуже черноризца повел. Много добра творил, бедным при жизни его хорошо было: только все это узналось лишь после кончины его, для того, что милостыню творил тайную. И такой был мудреный человек, что всем на удивленье! Была псарня, на охоту не ездил; были музыканты, при нем не играли; ни пиров, ни банкетов не делал; сам никуда, кроме церкви, ни ногой и холопям никакого удовольствия не делал, не поил их, не бражничал с ними… И что же? И господа и холопи как отца родного любили его. Недаром князь Алексей Юрьич «чудотворцем» его называл. А другие колдуном считали Муранского.

К нему, бывало, охотой двинутся. Табор-от в поле останется, а князь Алексей Юрьич с большими господами, с шляхетством, с знакомцами, к Петру Алексеичу в Махалиху, а всего поедет человек двадцать, не больше. Петр Алексеич примет гостей благодушно, выйдет из дома на костылях и сядет с князем рядышком на крылечке. Другие одаль – и ни гугу.

– Ну, чудотворец, – скажет, бывало, князь Алексей Юрьич, – мы к тебе заехали потрапезовать: припасы свои, нынче ведь пятница, опричь луку да квасу у тебя, чай, нет ничего. Благослови на мясное ястие и хмельное питие!.. Эй, ты, честный отче!.. Лысый черт!.. Куда запропастился?

А Иван Сергеич чинным шагом выступает с задворка, ровно утка с боку на бок переваливается. Маленький был такой да пузатенький.

– Здравствуйте, говорит, государь мой, Петр Алексеич. Как вас господь бог милует? Что ты, князь Алексей, меня кликал! Аль заврался в чем-нибудь, так на выручку я тебе понадобился?

– Я-те заврусь!.. У меня, лысый черт, ухо востро держи. Проси-ка вот лучше у чудотворца на трапезу благословенья… Эх! да ведь у меня из памяти вон, что ты, честный отче, раскола держишься – сам сегодня ради пятницы, поди, на сухарях пробудешь? Нельзя скоромятины – выгорецкие отцы не благословили.

И пойдут перекоряться, а Петр Алексеич молчит, только ухмыляется.

– Пошпыняй ты его хорошенько, пошпыняй лысого-то черта, – скажет князь Алексей Юрьич, – вспомни старину, чудотворец!.. Помнишь, как, бывало, на банкетах у графа Братиславского всех шпынял.

– Полно-ка, миленький князь, – ответит Петр Алексеич. – Мало ль чего бывало? Что было, голубчик, то былью поросло. А обед вам готов; ждал ведь я гостей-то… Еще третьего дня пали слухи, что ты с собаками ко мне в Махалиху едешь. Милости просим.

– Ну, вот за это спасибо, чудотворец. Погреба-то вели отпереть, не то ведь – народ у меня озорной, разбойник на разбойнике. Не ровен час: сам двери вон – да без угощенья, что ни есть в погребу, и выхлебают. Не вводи бедных во грех – отдай ключи.

– Ох ты, проказник, проказник, миленький мой князинька! – с усмешкой промолвит Петр Алексеич. – Что с тобой делать!.. Пахомыч!

Подойдет ключник Пахомыч.

---

[19] Шпынять – подсмеиваться, острить.

– Отдай княжим людям ключи от второго, что ли, погреба. Пускай утешаются. Да молви дворецкому: гости, мол, есть хотят.

Из табора нагрянут и выпьют весь погреб. А в погребе сорокоуша пенного да ренское, наливки да меды. А погребов у Муранского было с десяток.

Посередь Заборья, в глубоком поросшем широколистным лопушником овраге, течет в Волгу речка Вишенка. Летом воды в ней немного, а весной, когда в верхотинах мельничные пруды спустят, бурлит та речонка не хуже горного потока, а если от осеннего паводка сорвет плотины на мельницах, тогда ни одного моста на ней не удержится, и на день или на два нет через нее ни перехода, ни переезда.

Раз, напировавшись у Муранского, взявши после того еще поля два либо три, князь Алексей Юрьич домой возвращался. Гонца наперед послал, было б в Заборье к ночи сготовлено все для приема больших господ, мелкого шляхетства и знакомцев, было б чем накормить, напоить и где спать положить псарей, доезжачих охотников.

Ветер так и рвет, косой холодный дождик так и хлещет, тьма – зги не видно. Подъезжают к Вишенке – плотины сорваны, мосты снесены, нет пути ни конному, ни пешему. А за речкой, на угоре, приветным светом блещут окна дворца Заборского, а налево, над полем, зарево стоит от разложенных костров. Вкруг тех костров псарям, доезжачим, охотникам пировать сготовлено.

Подъезжает стремянный, докладывает: «нет переезду!..»

– Броду! – крикнул князь.

Стали броду искать – трое потонуло. Докладывают…

– Броду!.. – крикнул князь зычным голосом. – Не то всех перепорю до единого! – И все присмирели, линн, вой ветра да шум разъяренного потока слышны были.

Еще двоих водой снесло, а броду нет.

– Бабы!.. – кричит князь. – Так я же вам сам брод сыщу!

И поскакал к Вишенке. Нагоняет его Опарин, Иван Сергеич, говорит:

– Ты богатырь, то всем известно… Ты перескочишь, за тобой и другие… Кто не потонет, тот переедет… А собаки-то как же? Надо ведь всех погубить. Хоть Пальму свою пожалей.

А Пальма была любимая сука князя Алексея Юрьича – подаренье приятеля его, Дмитрия Петровича Палецкого.

– Правду сказал, лысый черт, – молвил князь, остановив коня. – Что ж молчал?.. Пятеро ведь потонуло!.. На твоей душе грех, а я тут ни при чем.

Поворотил коня, стегнул его изо всей мочи и крикнул:

– В монастырь!..

А монастырь рядом, на угоре. Был тот монастырь строенье князей Заборовских, тут они и хоронились; князь Алексей Юрьич в нем ктитором был, без воли его архимандрит пальцем двинуть не мог. Богатый был монастырь: от ярмонки большие доходы имел, от ктитора много денег и всякого добра получал. Церкви старинные, каменные, большие, иконостасы золоченой резьбы, иконы в серебряных окладах с драгоценными камнями и жемчугами, колокольня высокая, колоколов десятков до трех, большой – в две тысячи пуд, риз парчовых, глазетовых, бархатных, дородоровых множество, погреба полнехоньки винами и запасами, конюшни – конями доброезжими, скотный двор – коровами холмогорскими, птичный – курами, гусями, утками, цесарками.

А порядок в монастыре не столько архимандрит, сколько князь держал. Чуть кто из братии задурит, ктитор его на конюшню. Чинов не разбирал: будь послушник, будь рясофор, будь соборный старец – всяк ложись, всяк поделом принимай воздаянье. И было в Заборском монастыре благостроение, и славились старцы его велиим благочестием.

Только что решил князь в монастыре ночлег держать, трое вершников поскакали архимандрита повестить. Звон во все колокола поднялся…

Подъехали. Святые ворота настежь, келарь, казначей, соборные старцы в длинных мантиях по два в ряд. По сторонам послушники с фонарями. Взяли келарь с казначеем князя под руки, с пением и колокольным звоном в собор его повели. За ними большие господа, шляхетство, знакомцы. Псари, доезжачие, охотники по широким монастырским дворам костры разложили – отец казначей бочку им выкатил. Греются – Христос с ними – под кровом святой обители Воздвижения честного и животворящего креста господня… А собаки вкруг них тут же отдыхают, чуя монастырскую овсянку. Отец эконом первым делом распорядился насчет собачьего ужина… Знал старец преподобный, сколько милы были псы сердцу ктитора честный обители… Оттого и заботился…

В церкви князя встретил архимандрит соборне, в ризах, с крестом и святою водою. Молебен отпели, к иконам приложились, в трапезу пошли. И там далеко за полночь куликали.

Разместились гости, где кому следовало, а князь с архимандритом в его келье лег. Наступил час полуночный, ветер в трубе воет, железными ставнями хлопает, по крыше свистит. Говорит князь шепотом:

– Отче архимандрит… Отче архимандрит… Спишь аль нет?..

– Не сплю, ваше сиятельство. А вам что требуется?

– Страх что-то берет!.. Что это воет?..

– Ветер, – говорит архимандрит.

– Нет, отче преподобный, не ветер это, другое что-нибудь.

– Чему же другому-то быть? – отвечает архимандрит. – Помилуйте, ваше сиятельство! Что это вы?

– Нет, отче святый, это не ветер… Слышишь, слышишь?..

– Слышу… Собаки завыли.

– Цыц, долгогривый!.. Собак тут нашел!.. Слышишь?.. Душа Палецкого воет… Знал ты Палецкого Дмитрия Петровича?

– Разве могут души усопших выть? – молвил архимандрит.

– Это не говори… Не говори, отче преподобный… Мало ль что на свете бывает!.. Это Палецкий!.. Он воет!.. Слышишь? Упокой, господи, душу усопшего раба твоего Дмитрия… Страшно, отче святый!.. И лампадка-то у тебя тускло горит… Зажги свечу!..

– Зажгу, пожалуй, – молвил архимандрит. – Да полноте, ваше сиятельство. Как это не стыдно и не грех?

– Толкуй тут, а я знаю… Это меня зовет Палецкий… Скоро, отче, придется тебе хоронить меня.

– Что это вам на ум пришло? – говорит архимандрит. – Конечно, памятование о смертном конце спасительно, да ведь и суеверие греховно… Уж если о смерти помышлять, так лучше бы вашему сиятельству о своих делах подумать.

– А что мои дела?.. Какие дела?.. Украл, что ли, я у кого?.. Позавидовал кому?.. Аль мало вкладов даю тебе на монастырь, подлая твоя душа, бесстыжие поповские глаза!.. Нет, брат, шалишь! На этот счет я спокоен, надеюсь на божье милосердие… А все-таки страшно…

– То-то страшно: страшен-то грех, а не смерть… Так-то, ваше сиятельство, – молвил архимандрит.

– Привязался, жеребячья порода, с грехами, что банный лист! И говорить-то с тобой нельзя. Тотчас начнет городить черт знает что… Давай спать, я и свечку потушу.

– Спите с богом, почивайте, покойной ночи вашему сиятельству, – проговорил архимандрит.

Замолчали, и ветер маленько стих. А князь Алексей Юрьич все вздыхает, все на постели ворочается. Опять завыл ветер.

– Что это все воздыхаете, ваше сиятельство? – спросил архимандрит.

– О смертном часе, отче святый, воздыхаю. Слышишь?.. Слышишь?.. Упокой, господи, душу раба твоего Дмитрия!.. Его голос…

– Да это собака завыла.

– Собака?.. Да… да… собака, точно собака. Только постой!., погоди!.. Пальма – ее голос… А Пальма Палецкого подаренье… это – она его душу чует, ему завывает… А это?.. Да воскреснет бог и расточатся врази его!.. Это что?.. Собака, по-твоему, собака?

– Ветер в трубе.

– Ветер!.. Хорош ветер!.. Упокой, господи, душу раба твоего Дмитрия!.. Хороший был человек, славный был человек, любил я его, душа в душу мы с ним жили… Еще в Петербурге приятелями были, у князя Михайлы ознакомились, когда князь Михайла во времени был. Обоим нам за одно дело и в деревни велено… Все, бывало, вместе с ним… Ох, господи!.. Страшно, отче святый!..

– Полноте, ваше сиятельство, перестаньте… Вы бы перекрестились да молитву сотворили. От молитвы и страх и ночное мечтание яко дым исчезают… Так-то…

– Молюсь… молюсь, отче преподобие… Прости, господи, согрешения мои, вольные и невольные… Опять Пальма!.. Чует, шельма, старого хозяина!.. Яже словом, я же делом, яже ведением и неведением!.. Видишь ли, отче, когда умирал Дмитрий Петрович, царство ему небесное, при нем я был… И он, голубчик, взял меня за руку, да и говорит: «нехорошо, князинька, мы с тобой жили на вольном свету, при смерти вспомнишь меня»… Да с этим словом застонал, потянулся, глядь – не дышит… Ох, господи!.. Чу!.. Поминает, что смерть подходит ко мне… Слышишь, отче?..

– Одно суеверие, – сказал архимандрит. – Предзнаменованиям веры давать не повелено… Кто им верит – духу тьмы верит… Пустяками вы себя пугаете.

– У тебя все пустяки!.. Нет, отче святый, разумею аз, грешный, близость кончины: предо мной стоит… Слышишь?.. Скоро предамся червям на съедение, а душу неведомо како устроит господь.

– Да отчего это вам в голову пришло?

– Мало ль отчего?.. И Палецкий воет, и Пальма воет, и сны такие вижу… Сказано в Писании: «старцы в сониях видят». У пророка Иоиля сказано то! А мне седьмой десяток, стало быть, я старец… Старец ведь я, старец?..

– Дело не молодое, – молвил архимандрит.

– Так пилишь ли: «старцы в сониях видят». А что я вечор во сне видел?.. С Машкой-скотницей венчался… Видеть во сне, что венчаешься, – смерть.

– Полноте, греховодник вы этакий!

– Тебе все полно да полно! Не тебе, чернохвостнику, в гроб-от ложиться… А это, по-твоему, тоже «полно», что намедни Дианка тринадцатью ощенилась? Да еще одного трехпалого принесла, сам борзой, щипец ровно у гончей, и без правила. Это, по-твоему, тоже ничего?

– Не повелено, ваше сиятельство…

– Да ты молчи, коль я с тобою говорю, черт ты этакий!.. По-твоему и это ничего, что нынешнего года в самое мое рожденье зеркало в гостиной у меня лопнуло?

– Слышал я, что сами же свечу под то зеркало подставили.

– Врешь, отче преподобный, ничего ты не смыслишь!.. Коли зеркало лопнуло – кончено дело. Тут уж, брат, как ни вертись – от смерти не отвертишься. А тебе все ничего… Ты, пожалуй, скажешь, и это ничего, что намедни ко мне воробей в кабинет залетел?.. По-твоему, и это ничего, что на прошлой неделе нас ужинать село тринадцать?.. Отсчитал от себя тринадцатого – вышел Скорняков. Знаешь Скорнякова? В знакомцах у меня проживает – рыжий такой, губа сеченая… Думаю, пусть же над ним надо псом оборвется тринадцатый. Велел ему пить – жизнь бы свою тут же покончил, собака… С полведра вылакал, бестия, без памяти под стол свалился, ни духу, ни послушания. «Ну, думаю, слава тебе господи – опился. Тринадцатый-то, значит,

он…» Что ж ты думаешь?.. На другой день поутру глядь, а он в буфете похмеляется… Так меня варом и обдало!.. Кто ж, по-твоему, тринадцатый-то вышел?.. А?..

– Великий грех суевериям предаваться, – говорил архимандрит.

– А ты молчи, жеребячья порода!.. Видишь, к смертному часу готовлюсь, так ты молчи… Слышишь!.. Опять Палецкий!.. А вот и Пальма его учуяла!.. Страшно!.. Помолись обо мне, отче преподобный, не помяни моих озлоблений, помолись за меня, за грешного, простил бы господь прегрешения мои, вольная и невольная… Молись за меня, твое дело. Еще году не прошло, большой вклад тебе положил, колокол вылил – значит, не даром прошу святых молитв твоих… Духовную писал, душеприказчиком тебя сделал. Сам знаешь, опричь тебя такого дела поручить некому, народ все пьяный, забулдыжный… Так уж я тебя… Помру, положи ты меня в ногах у родителя моего, князя Юрия Никитича; сорок обеден соборне отслужи за меня, в синодик запиши в постенной и в литейной, чтобы братия по все годы молилась за меня беспереводно. А панихиды по мне петь: на день преставления моего да пятого октября, на день московских святителей Петра, Алексия, Ионы – ангела моего день, – и служить те панихиды каждый год беспереводно… И в те дни корм на братию и велие утешение… Так и вели записать в синодик, и те бы архимандриты, которые после тебя будут, ведали и чинили по моему завещанию каждый год безо всякия порухи. А душу свою тебе поручаю. Будь ты на покон моей души помянник, умоли ты господа бога об отпущеньи грехов моих, будь моим ходатаем, будь моим молитвенником, изведи из темницы душу мою…

И, заливаясь слезами, повалился в ноги архимандриту, ноги у него и срачицу целует, а сам так и рыдает.

Архимандрит утешает его, а князь так и разливается, плачет.

– Получишь ты по духовной большие деньги, сколько получишь, теперь не скажу: не добро хвалитися о делах своих… Четверть тех денег себе возьми, делай на них, что тебе господь на сердце положит; другой четвертью распорядись по совету с братией, как устав велит… На соборе-то главы позолоти, совсем ведь облезли; говорил я тебе, и денег давал, и бранился с тобой, а тебе все неймется, только и слов от тебя: «лучше на иную потребу деньги изведу»… А владычице жемчужный убрус устрой, жемчуг княгиня Марфа Петровна выдаст, да выдаст она еще тебе пять пудов серебряного лому, из того лому ризы во второй ярус иконостаса устрой. В Москве закажи… Зубрилову серебрянику не сметь заказывать; я еще с ним, с подлецом, покамест жив, разделаюсь… Отведает, каналья, вкусны ль заборские кошки бывают… Представь ты себе, отец архимандрит, на ярмонке смел он, шельмец, до моего парадного выезду лавку открыть. Счастлив, что тотчас же уехал, а то б я ему штук пятьсот середь ярмонки-то влепил бы.

Под это слово ставень – хлоп! Побледнел князь, задрожал.

– Упокой, господи, душу раба твоего Дмитрия!.. За мной пришел. Слышал?..

– Ставень хлопнул, – ответил архимандрит.

– У тебя все ставень!.. У тебя все… А Пальма-то, Пальма-то так и завывает!

– Да полноте же, ваше сиятельство!.. Как это не стыдно?.. Ровно баба деревенская.

– Ругаться, черт этакий?.. – во все горло закричал князь и кулаки стиснул. – Не больно ругайся, промозглая кутья!.. Кулак-от у меня бабий?.. Ну-ка, понюхай.

И поднес кулачище к архимандричьему носу.

– Ложитесь-ка лучше с богом на спокой… Давно уж пора, – кротко и спокойно промолвил архимандрит.

– Без тебя знают!.. «Баба»!.. Дам я тебе бабу, долгогривый черт!.. Ох, господи помилуй, опять Пальма… Нет, отче святый, надо умирать, скоро во гроб положишь меня, скоро в склеп поставят меня, темно там… сыро… Ох, господи помилуй, господи помилуй!.. Да!.. Ведь я не докончил тебе про духовную-то… Третью четверть денег раздай по всей епархии протопопам, попам, дьякам, пономарям и иным, сколько их есть, причетникам по рукам, каждому дьякону

против попа половину, каждому причетнику против дьякона половину. И закажи ты им, и попроси ты их, усердно бы молились всемилостивому спасу и пресвятой богородице о прощении грешной души раба б о ж и я князя Алексия, искупили бы святыми молитвами своими велия моя прегрешения… Кирчагинскому дьякону не смей ни копейки давать!.. Вздумал на меня в губернскую канцелярию челобитну подать?.. Поле, слышь, у него я вытоптал, корову застрелил!.. Так разве хотел я у него хлеб-от топтать? Виноват разве я, что заяц в овес к нему кинулся?.. Упускать русака-то ради дьяконского овсишка?.. А корову?.. Разве сам я стрелял?.. Со мной вон сколь всякой сволочи ездит, усмотришь разве за всеми?.. Усмотришь разве?.. Нет, ты скажи, отче преподобный, можно ль за этими дьяволами усмотреть?.. А?.. Можно?.. Да ты молчи, коли я говорю, губы-то не распускай: во многоглаголании несть спасения, так ты и молчи… Нечего тебе рассказывать: к духовному чину завсегда решпект имею, потому что вы наши пастыри и учители, теплые об нас молитвенники, очищаете нас, окаянных, в бездне греховной валяющихся, ото всякие мерзости и нечистоты… Оттого даже ни один пономарь отродясь в Заборье на конюшне у меня не бывал… А кирчагинский помни!.. Помни, подлый кутейник, овес да корову… Еще доберусь до шельмеца!.. Останную четверть денег изведи на похороны… Покрова не покупай, в Париж к двоюродному брату, князь Владимиру, посланы деньги, самой бы наилучшей лионской парчи там купил. Боюсь только, не спустил бы мои денежки в фаро. В Версали большую игру ведет. Ему, шалопаю, и в голову не может прийти, что по его милости могу я на тот свет голышом пред богом предстать… Прошлого года просил его купить сочинения Вольтера да гобеленов в угольную. До сих пор не шлет… Шапку архимандричью устрой себе, у княгини Марфы Петровны жемчугов и камней спроси, – давно ей от меня приказано… А не княгиню, так капралыпу крутихинскую спроси, она тоже знает… Да делай шапку-то поразвалистей, а то срам глядеть на тебя – в каких шапках ты служишь: ни фасону, ни красоты, нет ничего… На похороны все шляхетство созови, и столповых, и молодых, и мелкопоместных; хорошенько помянули бы меня за упокой… Белавина Федьку не смей только звать… Он меня знать не хочет, и я его знать не хочу… Эка важна персона!.. А тоже сердце имеет!.. Поучил я его прошлого года маленько, так он и губу надул… Да это бы наплевать, я бы за это и вспороть его мог. В Петербург что-то писал про меня. До двора дошло; отписывали мне, будто по этому делу на куртаге говорили про меня немилостиво. А я ведь хоть не в опале, да и не во времени… Много ль надо меня уходить… Будь это при втором императоре, будь при владеющем курляндском герцоге – я бы Федьку в рудниках закопал, – а теперь я что?.. В подлости нахожусь – не хуже тебя, долгогривого… Оттого и махнул я рукой на Белавина… Что с дураком связываться? наплевать да и все тут… А ведь поучил-то его за что?.. Ради его же души спасения… Видишь ли, как было дело: обедал Федька у меня в воскресенье, Великим постом. Сам знаешь, большие посты я соблюдаю, устав тоже знаю… Подают кушанье как следует: вино, елей, злаки и от черепокожных. А Федька Белавин, когда подали стерляжью уху, при всех и кричит мне с другого конца стола: «вы, говорит, ваше сиятельство, сами-то постов не соблюдаете, да и гостей во грех вводите». – «Что заврался, говорю, в чем ты грех нашел?» – «А в этом», – говорит да на стерлядь и показывает. Велел подать «Устав о христианском житии», подозвал Федьку Белавина: «Читай, говорю, коли грамоте знаешь». А он: «Тут писано про черепокожных, сиречь про устерсы, черепахи, раки и улитки, яже акридами нарицаются». Зло меня взяло, слыша такое ругательство над церковью божиею… Как?.. Чтобы нам святыми отцами заповедано было снедать такую гадость, как улитки?.. А Федька богомерзкий свое несет, говорит: «Стерлядь – рыба, черепа на ней нет». Поревновал я по «Уставе», взял стерлядку с тарелки да головой-то ему в рыло. – «Что, говорю, есть череп иль нет?» Кровь пошла – рассадил ему рожу-то. Только всего и было… Не драл его, не колотил, волосом даже не тронул, об его же спасении поревновал, чтобы в самом деле, по глупости своей, не вздумал христианскую душу скверной улиткой поганить… Так поди ж ты с ним… В доносы пустился: дивлюсь еще, как *слово* и *дело* не гаркнул… Погубить бы мог, шельмец… Плюнул я на Федьку,

знаться с дураком не хочу и на поминках моих кормить нечестивую утробу его не желаю. Не зови его, отче святый, никак не зови… Позовешь, будем с тобой на том свете перед истинным Спасом судиться. Помни же это… Мне что!., господь с ним, с Белавиным, меня, маленького человека, обидеть легко, а каково-то ему на том свете будет… Вот что!.. Ну, давай спать, старина.

Ветер затих. По малом времени и князь и архимандрит захрапели.

На заре проснулся князь Алексей Юрьич, говорит архимандриту:

– Надо мне, отче, на тот свет сбираться. Надо, как ты ни мудри. Только заснул я, Палецкий в овраге стоит и Пальма с ним, а в овраге жупель огненный, серой пахнет… Стоит Палецкий да меня к себе манит, сердце даже захолонуло…

– Что ж такое? – спросил архимандрит.

– Говорит: «подь сюда; сколь вору ни воровать, виселицы не миновать»… Ужаснулся я, отче, пот холодный прошиб меня, проснулся, а он воет, и Пальма воет… Нет, отче преподобный, вижу, что жить мне недолго; сегодня же князю Борису пишу, ехал бы в Заборье скорей, мать бы свою не оставил, отца бы предал честному погребенью… Шабаш охота!.. Поеду от тебя прямо домой – с женой проститься, долг христианский исполнить. Приезжай вечерком исповедать меня, причастить… На своих приезжай, мои-то кони в разгоне… Свадьбу сегодня у меня справляют. Устюшку-то замуж выдаю. Знаешь Устюшку-то мою? Маленькая такая, чернявенькая… ух, горячая девка какая!.. Так уж ты, отче святый, на своих приезжай, к непостыдной кончине готовить меня многогрешного…

– Слушаю, ваше сиятельство, слушаю, беспременно приеду, не премину, – говорит архимандрит. – А к княгине Марфе Петровне поезжайте, примиритесь с нею по-христиански: знаю ведь я, что вот уж шестой год как вы слова с ней не перемолвили… Замучилась она, бедная!

– Что княгиня?.. Баба!.. Бабе плеть…

– Эх, ваше сиятельство!.. Чем бы суевериям предаваться да сны растолковывать, лучше бы вам настоящим делом о смертном часе помыслить, укрощать бы себя помаленьку, с ближними бы мириться.

– Что мне с ними мириться-то!.. Обидел, что ли, я кого?.. Курица, и та на меня не пожалуется!.. А страшно, отче преподобие!.. Ох, голова ты моя, головушка!.. Разума напиталась, к чему-то приклонишься?.. В монахи пойду.

– Княгиню-то куда же?

– Ну ее к бесу! Мне бы свою-то только душу спасти… А она как знает себе, черт с ней.

– Ах, ваше сиятельство, ваше сиятельство!.. Что с вами делать? Не знаю, что и придумать.

– «Что делать? Что делать?..» – передразнил князь архимандрита. – Ишь какой недогадливый!.. Да долго ль, в самом деле, мне просить молитв у тебя?.. Свят ты человек пред господом, доходна твоя молитва до царя небесного? Помолись же обо мне, пожалуйста, сделай милость, помолись хорошенько, замоли грехи мои… Страшен ведь час-от смертный!.. К дьяволам бы во ад не попасть!.. Ух, как прискорбна душа!.. Спаси ее, отче святый, от огня негасимого…

И заплакал, и упал к ногам архимандрита… Ноги у него целует, говорить не может от душевного смирения, от сердечного умиления.

Вдруг за оградой гончие потянули по зрячему… Грянули рога на зверя на красного… Как вскочит князь!

– На-конь! – крикнул в окно зычным голосом.

И, кое-как одевшись, не простясь с архимандритом, метнулся на крыльцо и вскочил на лошадь…

Во весь опор помчалась за ним охота к оврагу Юрагинскому.

VI
Княгиня Марфа Петровна

Много горя натерпелась в свою жизнь княгиня Марфа Петровна, мало красных дней на долю ей выпало, – великая была мученица, – царство ей небесное!

Родитель ее, князь Петр Иваныч Тростенский, у первого императора в большой милости был. Ездил за море иностранным наукам обучаться, а воротясь на Русь, больше все при государе находился. В Полтавской баталии перед светлыми очами царскими многую храбрость оказал, и, когда супостата, свейского короля, побили, великий государь при всех генералах целовал князя Тростенского и послал его на Москву с отписками о дарованной богом виктории.

Отпуская в путь, дал ему государь письмо к старому боярину Карголомскому. А тот Карголомский жил по старым обычаям. И с бородой не пожелал было расстаться, но когда царь указал, волком взвыл, а бороды себя лишил. Зато в другом во всем крепко старинки держался. Был у него сын, да под Нарвой убили его, после него осталась у старика Карголомского внучка. Ни за ним, ни перед ним никого больше не было. А вотчин и в дому богатства – тьма тьмущая.

Отдает великий государь письмо князю Тростенскому, сам такой приказ ему сказывает:

– Будучи на Москве, изволь отдать письмо Карголомскому, и что в том письме писано, изволь, с своей стороны, чинить по нашему указу. Внакладе не будешь… – Да поцеловавши князя в лоб, примолвил: – С богом.

Приехавши на Москву, подал князь Петр Иваныч царское письмо Карголомскому. Прочитал старик, охнул, затрясся, пот на лбу у него выступил. Положив три земных поклона перед Спасовым образом, сказал князю Тростенскому:

– Воля государева, а мы все его да божьи.

А в государеве письме было писано:

«Понеже господин майор князь Тростенский в европейских христианских государствах науке воинских дел довольно обучался и у высоких потентатов при наших резидентах не малое время находился, ныне же во время преславной, богом дарованной нам над свей-ским королем виктории великую храбрость пред нашими очами показал, того ради изволь выдать за него в замужество свою внуку, и тем делом прошу поспешить. А дело то и вас всех поручаю в милость всевышнего».

Горька пришлась свадьба старику Карголомскому: видел он, что нареченный его внучек – как есть немец немцем, только звание одно русское. Да ничего не поделаешь: царь указал. Даже горя-то не с кем было размыкать старику… О таком деле с кем говорить?.. Пришлось одному на старости лет тяжкую думушку думать. Не вытерпел долго старик – помер.

Молодые жили душа в душу. Великий государь и родные, глядя на них, не могли нарадоваться. Через год после Полтавской баталии даровал им господь княжну Марфу Петровну. Конца не было радостям. Сам государь княжну изволил от святой купели принимать и, когда стала она подрастать, все, бывало, нет-нет, а у отца и наведается, чему крестница обучается и каково ей наука дается. Ливонскую немку сам приставил ходить за ней, пленного шведа пожаловал для обучения княжны всякой науке и на чужестранных языках говорить, француза для танцев сам князь от себя наймовал. Придет, бывало, великий государь к князю Тростенскому – а езжал к нему нередко, – анисовой спросит, кренделем закусит и велит княжну к себе привести, почнет ее расспрашивать, чему дареный швед выучил, по-чужестранному заговорит с ней, менуэт заставит проплясать, а потом поцелует в лоб да примолвит: «Расти, крестница, да ума копи, вырастешь большая – мое будет дело жениха сыскать». Не сподобил царя господь при себе пристроить крестницу: пятнадцати годочков княжне не минуло, как взял к себе бог первого императора.

По восьмому годочку осталась княжна после матери, а родитель через полгода после великого государя жизнь скончал. Оставалась княжна сиротиночкой, кровных, близких родных нет никого, одна, что хмелинка без тычинки, и нет руки доброй, ласковой, поддержал бы сиротство да малость ее… За опекой дело не стало – сирота богатая, не объест… Взяла княжну тетка ее внучатная – княгиня Байтерекова. Стала с ней княжна во дворец на куртаги ездить, на ассамблеи к светлейшему Меншикову, к графу Головкину, к князю Куракину, а к иным знатным персонам на балы, на банкеты, и с визитою. И не было в Питере подобных красавиц и разумниц, как княжна Марфа Петровна Тростенская.

В коем дому невеста богатая, в том дому женихи, что комары на болоте толкутся. Так в старые годы бывало, так повелось и в нынешни дни… У княжны отбою от женихов не было, а были те женихи из самых знатных родов, а которы не родословны, иль родов захудалых, те знатные чины при дворе иль в гвардии имели. Однако княжна хоть и молоденька была, но честь свою наблюдала крепко, многие ею «заразились», а она благосклонности никому не показала.

Девьеров сын, Петр Антоныч, был счастливей других. На куртагах княжну на любовь склонил, через тетку Байтерекову присватался, через отца своего доложил государыне… Перед обрученьем Екатерина Алексеевна изволила княжну иконой благословить, а свадьбу велела отложить, пока не пошлет ей господь облегченья. Была государыня нездорова, а крестницу первого императора сама хотела замуж отдать и тем обещанье Петра Великого выполнить.

Ждут жених с невестой месяц, ждут другой, третий, царице все хуже да хуже. Болезнь становилась прежестокая, стали тихомолком поговаривать, вряд ли поднимет царицу господь. А кому, отходя сего света, земное царство откажет, не ведал никто. И печальны все были… Не до пиров, не до свадеб… Государыня едва дух переводила, как женихова отца, графа Девьера, взяли под караул… Дом его опечатали, к княгине Байтерековой драгунский капитан приезжал: все вещи княжны Тростенской пересмотрел, какие письма от жениха к ней были, все отобрал, а самой впредь до указу никуда не велел из дома выезжать.

Перед вешним Николой, дня за три, по Питеру беготня пошла: знатные персоны в каретах скачут, приказный люд на своих на двоих бежит, все ко дворцу. Солдаты туда же маршируют, простой народ валит кучами… Что такое?.. Царицы не стало, бегут узнать, кто на русское царство сел, кому надо присягу давать. Услыхавши ту весть, княжна на пол так и покатилась…

Ввечеру сказали: женихова отца кнутом бить, чести, чинов, имения лишить и послать в Сибирь, а жениха в дальнюю деревню вместе с его матерью. И родную сестру не пожалел светлейший Меншиков.

И проститься жениху с невестой не дали. Хотела было княжна с другом своим в несчастие ехать, да тетка Байтерекова и многие другие знатные персоны ее отговорили.

Год прошел; новый царь со всем двором в Москву переехал. Байтерекова с племянницей туда же… Там приглянись княжна князю Заборовскому. Человек был уже не молодой, лет под сорок, вдовец, хоть и бездетный. Княжна и слышать про него не хотела. А князь Алексей Юрьич с государевым фаворитом, князем Иваном Алексеичем Долгоруким, в ближней дружбе находился… Стал ему докучать про невесту, фаворит доложил государю… И сказано было княжне: «крестный твой отец, первый император, дал тебе обещанье, когда в возраст придешь, жениха сыскать, но не исполнил того обещания, волею божиею от временного царствования в вечное отыде, того ради великий государь, его императорское величество, памятуя обещание деда своего, указал тебе, княжне Марфе Петровой дочери Тростенского, быть замужем за князем Алексеем княж Юрьевичем Заборовским».

Только что стала зима, на Москве торжества и пиры пошли. Сам государь с сестрой фаворита обручался, фаворит с Шереметевой, князь Заборовский с княжной Тростенской. Ровно знал князь Алексей Юрьич, что скоро перемена последует: только Святки минули и свадьбы играть стало невозбранно, он повенчался с княжной.

Невеселая свадьба была: шла невеста под венец, что на смертную казнь, бледней полотна в церкви стояла, едва на ногах держалась. Фаворит в дружках был… Опоздал он и вошел в церковь сумрачный. С кем ни пошепчется – у каждого праздничное лицо горестным станет; шепнул словечко новобрачному, и тот насупился. И стала свадьба грустней похорон. И пира свадебного не было: по скорости гости разъехались, тужа и горюя, а о чем – не говорит никто. Наутро спознала Москва, – второй император при смерти.

Княгиня Марфа Петровна и до свадьбы и после свадьбы ходила словно в воду опущенная; новобрачный тоже день ото дня больше да больше кручинился… Про великого государя вести недобрые: все тяжелей становилось ему. А была в ту пору «семибоярщина». С семью верховными боярами и с фаворитом князь Заборовский заодно находился и каждый божий день во дворец к больному царю езжал. Только что великий государь преставился, пропал князь Алексей Юрьич, найти не могут, девался куда. Ни молодой княгине, ни в дому ничего не известно: пропал без вести да все туг. Месяца через два на Москве объявился: с Бироном вместе из Митавы приехал.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.